

Валерий Поволяев

РУССКАЯ РУЛЕТКА

КОЛЛЕКЦИЯ
Военных
Приключений



Коллекция военных приключений

Валерий Поволяев

Русская рулетка

«ВЕЧЕ»

2016

Поволяев В. Д.

Русская рулетка / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ»,
2016 — (Коллекция военных приключений)

ISBN 978-5-4444-9244-4

1921 год. Непокойно на советско-финской границе, то и дело пытаются прорваться через нее то контрабандисты, то отряды контрреволюционеров. Да и в Северной столице под руководством профессора Таганцева возникает «Петроградская боевая организация». В нее входят разные люди — от домохозяек до поэтов, вот только цель у них одна — свержение советской власти. Стоит ли удивляться, что жизнь пограничника Костюрина, боцмана Тамаева, царского подполковника Шведова, чекиста Крестова и многих других людей уподобляется знаменитой «русской рулетке»?

ISBN 978-5-4444-9244-4

© Поволяев В. Д., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	14
Глава третья	22
Глава четвёртая	25
Глава пятая	36
Глава шестая	40
Глава седьмая	48
Глава восьмая	56
Глава девятая	62
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Валерий Поволяев

Русская рулетка

© Поволяев В.Д., 2016

© ООО «Издательство „Вече“», 2016

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Посвящается моему близкому товарищу Каро Сипки

Глава первая

Зимний Питер часто бывает угрюм, пустынен, над крышами домов плывут низкие плотные облака, смешиваются с дымами, медленно выползающими из давно не чищенных печных труб, ветер, приносящийся с моря, пробирает до костей, поэтому те, кто может сидеть дома, предпочитают дома и сидеть, на улицу не высовываются.

Ветер питерский, недобрый, холодный, солёный, рождает в груди тоску, стискивает горло, так сильно стискивает, что становится нечем дышать, потому-то у многих людей, встречающихся на петроградских тротуарах, лица бледные, в синеву. Им не хватает свежего воздуха.

У Костюрина имелась в Петрограде своя комната – угловая, тихая, расположенная в многонаселённой квартире в самом центре Северной столицы, на Лиговском проспекте, в большом доме, украшенном различными пилонами, капителями, розетками и прочими красивыми вещами, которые впоследствии будут величать архитектурными излишествами.

Раз в месяц Костюрин обязательно покидал свою пограничную заставу – оставлял её на замбоя (заместителя по боевой подготовке) Петра Широкова и отправлялся в Питер: дома надо было появляться регулярно, иначе комнату могли заселить каким-нибудь излишне шустрым жильцом, и такое в их доме уже бывало – это раз, и два – в каждый свой приезд домой Костюрин обязательно стремился где-нибудь побывать: на поэтическом вечере, на концерте заезжего молодого певца или в модном революционном театре на пьесе очередного горластого сочинителя...

Замбой Петя Широков был человеком надёжным, ему Костюрин верил как самому себе, плюс ко всему Широков был другом начальника заставы Костюрина, в восемнадцатом году они вместе трепали генерала Юденича в болотах под Питером, в свободное от боёв время дружно ругали генерала, величали его Кирпичом. Вообще-то они не были первопроходцами по части прозвища. Кирпичом Юденича величали ещё в годы Первой мировой войны, которую в четырнадцатом году назвали Великой – слишком много стран ввязалось в неё, – да и физиономия у старого генерала была цвета хорошо прокалённого кирпича и очень даже подходила для такого прозвища.

Говорят, Юденич на это прозвище не обижался, терпел.

Костюрин перед своим домом остановился, оглядел его внимательно, словно хотел засечь изменения, которые произошли во внешнем облике здания. А ничего, собственно, и не произошло. Постарел только дом, и всё.

Песочного цвета стены, высокий фронтон, расположенный по центру. Несколько балконов с одинаковыми оградками, массивные окна с запыленными стёклами. Народ питерский перестал мыть окна, посчитав это дело буржуазной отрыжкой... Костюрин вздохнул и вошёл в подъезд. По широкой парадной лестнице с роскошными чугунными перилами поднялся на второй этаж, собственным ключом открыл английский замок на двери квартиры номер семнадцать и очутился в тёмной, пахнущей пылью прихожей.

На тяжёлый стук массивной входной двери сразу из двух комнат выглянули соседи: волосатый, похожий на предводителя большого цыганского табора Кобылкин и жилистая, наряженная в красный марксистский жилет дама неопределённого возраста (знатоки давали ей от семнадцати до семидесяти пяти лет) по фамилии Бремер. Бремерша работала в местной коммунальной организации, следила за тем, чтобы рабочий люд, получающий комнаты в общих квартирах, не калечил жильё и там, где есть мебель, сохранял её.

Костюрин поднял руку, приветствуя соседей:

– Революционный салют труженикам славного Петрограда!

Слесарь готовно распахнул волосатую пасть:

– Наше – вашим!

Бремерша не ответила Костюрину, оценивающе оглядела его с головы до ног, прилепила к нижней вялой губе папироску – курить папиросы стало модным среди женщин, – и с громким хряском захлопнула дверь своей комнаты. Вот тебе и «Наше – вашим!». Слесарь это не расценил никак. Звучно щёлкнул пальцем по кадыку:

– Могу картофельным самогончиком угостить!

Отрицательно мотнув рукой – устал, мол, – Костюрин прошёл к своей двери, на которой висел простенький плоский замочек, какими запирают сундучки, открыл его гвоздём, который специально держал в кармане, – ключ он давным-давно потерял, – и вошёл в комнату.

Здесь, как и в прихожей, пахло пылью. Костюрин стянул с себя, перекинув ремень через голову, командирскую сумку, бросил её на жёсткую железную койку, сшитую каким-то умельцем с Путиловского завода из металлических пластин, посаженных на гайки, расстегнул пряжку португеей, потом – новенький кожаный ремень, один из последних трофеев, взятых им на Гражданской войне: снял с убитого белого офицера на Дальнем Востоке.

После Юденича Костюрин дрался с Колчаком, потом вообще переместился на край краёв земли – на Камчатку, там и встретил конец войны...

Дальше был направлен служить на остров Врангеля.

Люди, слыша об этом, фыркали:

– Фи, Врангель – белый генерал, душитель народный, мироед...

– Не мироед, а мореплаватель, путешественник и вообще большой первооткрыватель, – терпеливо пояснял неотёсанным собеседникам Костюрин.

– Чего же он такого понаоткрывал, раз его советская власть терпит? – щурили глаза несогласные.

– Много чего. Моря, проливы, острова. Новые земли... понятно?

– А первооткрывателя твоего случайно не Петькой звали, а? Как крымского генерала...

А?

– Не бойсь, не Петькой.

– А как?

– Фердинандом.

– Час от часу не легче! Ну смотри, Костюрин, под твою ответственность. Хотя советуем от всей души – фамилию эту употребляй как можно реже.

– Щаз!

Действительно, Врангель Врангелю рознь. Фердинанд – великий человек, присовокупивший к земле русского острова и новые земли. Возглавивший когда-то Колымскую экспедицию и открывший неизведанную каменистую плошку, купающуюся в холодном океане, которую назвал «остров, на котором живут чукчи», а второй Врангель – обычный кровосос. Комар, которому Красная Армия свернула шею. Что же касается первого Врангеля, то лишь через сорок лет заиндевелая, с разбитыми каменными берегами, подмытая солёной океанской водой и замороженная до самых печёнок земля получила его имя. Костюрин хоть и недолго побыл на ней – год с небольшим довеском, но успел влюбиться в берега, на которых вила гнёзда самая романтическая птица Арктики, она же и самая редкая – розовая чайка.

Некоторые покорители севера всю жизнь ищут розовую чайку, хотят глянуть на неё хотя бы одним глазком, окунуться в редкостный свет, исходящий от оперения, мечутся по снегам и льдам с возгласами надежды, но цели своей не достигают, так и уходят в мир иной, не повидав таинственной птицы. А Костюрин видел розовую чайку, несколько раз видел, и гнёзда её находил...

Он стянул с себя ремень с португеей и тяжёлой кобурой, в которую был вложен наган, повесил на спинку «путиловской» койки, затем сам повалился на койку – почувствовал усталость. Закрыв глаза и на несколько минут опрокинулся в лёгкий, полный движения и радостных лиц, – в большинстве своём знакомых, – сон.

Очнулся он от того, что в дверь кто-то громко барабанил кулаком. Свесил с койки ноги.
– Входите, не заперто!

В дверь всунулась чёрная волосатая физиономия слесаря Кобылкина.

– Слушай, командир, всё-таки составь мне компанию, а? – Кобылкин знакомо щёлкнул ногтём по горлу. – Не могу один пить, не по-русски это.

– А я не могу пить в служебное время, ты тоже это пойми... Нельзя. Мне сегодня ещё в штабе у начальства надо появиться.

– Тьфу! – отплюнулся Кобылкин и закрыл дверь.

Сон был прерван. Костюрин выругался, качнулся на койке, пробуя хотя бы немного продавить жёсткие пластины, пробормотал привычно:

– Такие койки – только для узников Петропавловской крепости!

Мебели в Питере не хватало. Много хорошей мебели, изготовленной из дорогих пород дерева, пожгли в семнадцатом году, когда боролись с тяжким наследием царского прошлого и буржуйскими пережитками – о-ох, какие роскошные кровати с резными спинками и обтянутыми атласом пружинными низами летели в огонь – сегодня плакать хочется! В результате теперь приходится спать на неудобных железных и деревянных лежаках, уродовать себе кости. Зато никто не бросит слова упрёка, все живут по-пролетарски скромно.

Костюрин поднялся, заправил керосинку «казанской смесью» – особым «авиационным топливом», которое взял у лётчика Йоффе, прикрепленного к пограничному отряду, топливо это было не чем иным, как обычным техническим спиртом, смешанным с большим количеством самогона и небольшим – газolina. Полыхал этот самодельный бензинчик так, что Йоффе носился на своём старом самолёте, как чёрт, которому здорово наскипидарили задницу.

Для того чтобы керосинка не взорвалась, Костюрин добавлял в горючее соли, отчего керосинка трещала, фыркала, плевалась вспышками огня, будто летательный аппарат военного Йоффе. Костюрин потряс керосинку, чтобы соль растворилась в топливе, ощупал пальцами широкий, по краю углублённый до черноты фитиль, проверяя, пропитался он смесью или нет, удовлетворённо кивнул и поставил на керосинку чайник. Самое милое дело в промозглую погоду – стакан горячего чая. У Костюрина дома даже настоящая заварка имелась, несколько щепотей, – не морковная подделка, а подлинный китайский чай, запечатанный в шёлковый мешочек и упрятанный в яркую деревянную шкатулку с клеймом харбинского магазина Чурина. Костюрин этот свой маленький запас очень ценил, хотя сейчас, в пору морковного засилья, был ценен любой чай, не только настоящий китайский...

Забравшись в шёлковый мешочек, Костюрин тремя пальцами отщипнул немного заварки, ссыпал в кружку и, подождав, когда закипит чайник, залил заварку кипятком. Восхищённо потянул носом – дух от кружки потёк божественный, мигом заполнил комнату.

Вот что значит настоящий чай.

Попив чаю, Костюрин озабоченно глянул на часы – поджигает время или нет? В половине пятого вечера ему надлежало быть в штабе, он не соврал соседу – его ждал начальник разведки.

Время ещё было. Костюрин добавил в кружку ещё кипятка, снова затянулся сладким чайным духом. Вторая заварка – не первая, после первой она показалась совсем невкусной. Недаром вторую заварку называют холопской. Хотя есть очень много людей, которые любят именно вторую заварку, считая её мягче, вкуснее, нежнее, лучше первой. Костюрин холопскую заварку не любил, пил только в крайнем случае.

В четыре часа вечера он покинул квартиру.

Начальник разведки у пограничников был человеком новым – прибыл из Москвы, где работал в аппарате самого Дзержинского. Он молча указал Костюрину на стул, а сам, пройдя к

стене, раздёрнул шторы, закрывавшие карту, одну в одну сторону, вторую в другую, несколько минут молча всматривался в карту.

Потом вежливо, – сразу было видно московского интеллигента с его неспешной статью и убийственной вежливостью, – попросил Костюрина:

– Подойдите к карте поближе, пожалуйста.

Костюрин поспешно вскочил со стула. Начальник разведки указал ему на небольшой кружок на карте, – кружок располагался на участке границы, охраняемом заставой Костюрина.

– У нас имеются проверенные сведения, пришедшие с сопредельной стороны, что в этом вот месте наши недруги собираются прорезать постоянно действующее окно, – начальник разведки выразительно постучал пальцем по указанному кружку...

– Ну, эту дырку мы очень быстро заделаем, – бодро воскликнул Костюрин, – ни один таракан не прошмыгнёт.

– А вот это как раз и не надо, – мягко проговорил начальник разведки, – пусть дырка эта, как вы её назвали, существует, и действует пусть – только под нашим контролем. – Начальник разведки ещё раз стукнул по кружку и добавил: – Такое решение принято наверху, в Москве.

– И когда же полезут эти... господа хорошие? – любопытствовал Костюрин.

– Не знаю, – по-прежнему спокойно и сухо, не меняя вежливого тона, произнёс начальник разведки, – как только нам станет что-то известно – сообщим. А пока... пока будьте готовы ко всему, товарищ Костюрин. И не теряйте революционной бдительности.

– Есть не терять революционной бдительности, – вытянулся Костюрин.

Начальник разведки махнул рукой, отпуская его.

Улицы вечернего Петрограда были пустынные, таинственные, от них веяло холодом и чем-то ещё – запахом помойки, что ли?

Никогда Питер не пахнул помойкой, но после Гражданской войны начал пахнуть, и не петроградские жители были в этом виноваты, а разный пришлый люд, в большинстве своём грязный: дезертиры, заплевавшие чистые проспекты подсолнуховой шелухой, бандиты, выпущенные новой властью из тюрем, цыгане, разное отребье, жившее раньше на помойках, а сейчас возомнившее себя властителями города и требующее как минимум купеческие палаты... От них и тянет помойным духом. Костюрин поморщился – тьфу!

Впереди неожиданно мелькнула гибкая, плохо видная, почти прозрачная тень, послышалось хриплое мужское рывканье, а затем отчаянный женский крик:

– Помогите!

Костюрин, не раздумывая, кинулся вперёд, на крик, на бегу расстегнул кобуру нагана.

– Помогите!

Крик подстегнул Костюрина, он убыстрил бег.

В темноте начальник заставы разглядел, как двое молодцов в кепках трепали какую-то женщину – судя по всему, нестарую, исправно одетую. Женщина отбивалась от них маленькой кожаной сумочкой. Но что такое безобидная сумка по сравнению с пудовыми кулаками первого налётчика и ножиком, который держал в руке второй громила.

– Помогите!

– А ну, отпустите её! – прокричал на бегу Костюрин. – Немедленно отпустите!

– Хы! – гикнул первый грабитель, и в то же мгновение правая рука его окрасилась оранжевой вспышкой. Громыкнул гулкий выстрел.

Выстрелы на пустынных городских улицах всегда звучат гулко, будто в опорожнённой бочке, у людей, не знакомых с этим, даже коленки трясутся.

– Отпустите немедленно! – вновь прокричал Костюрин, споткнулся о собственный крик. – Иначе буду стрелять!

– Хы! – вторично выбил из горла пробку громила и вновь нажал на спусковую собачку.

Пуля на этот раз прошла совсем близко от Костюрина, он даже ощутил жар, исходящий от неё, пригнулся запоздало, хотел было выстрелить в ответ, но побоялся задеть женщину.

Когда громила вскинул пистолет в третий раз, Костюрин резко метнулся в сторону, присел. Если бы он не сделал этого, пуля снесла бы ему половину головы. Резко поднялся, распрямился, будто пружина, сделал стремительный бросок вперёд и вновь метнулся в сторону, когда услышал предупреждающий хрип налётчика:

– Не подходи!

Нырнул вниз. Налётчик выстрелил в четвёртый раз. И опять мимо. То ли Костюрину везло, то ли у налётчика были кривые глаза. Пуля вновь не зацепила начальника заставы, хотя от стрелка его отделяли уже считанные метры, на таком расстоянии в цель может не попасть только слепая корова.

– Не подходи! – опять раздался крик кривоглазого стрелка. Разъярённый, с плоским размазанным лицом, он и на человека-то не походил, больше смахивал на растерявшего свою колдовскую статью оборотня. – Кому сказал! – Он опять вскинул пистолет, что было силы надавил на железный крючок спуска.

Вместо выстрела раздался противный сухой щелчок. Стрелок дёрнулся испуганно, словно на шею ему накинута верёвка, заорал, едва ли не выворачиваясь наизнанку:

– Режь его, Колян! Режь!

Второй налётчик откинул от себя женщину, та хлестнула его в последний раз сумочкой – налётчик так и не сумел отнять ридикюль, – и отлетела к высокой чугунной ограде, рыжей от густой ржавы, вскинул нож с латунными блестящими усиками и тёмной деревянной ручкой, зажатой в кулаке.

Именно эти мелочи успели засечь острые глаза Костюрина – жёлтые, словно бы специально начищенные усики и чёрную, захватанную грязными пальцами ручку, – ещё Костюрин засёк, что женщина не убежала, прижалась спиной к ограде и так и застыла. Как ни странно, это ободрило Костюрина, хотя он был человеком неробким и на войне повидал всякое и хорошо знал, что рождает внутри у человека зрачок пистолетного дула или острый кончик ножа, нацеленный в грудь, – под мышками у него всё-таки родился холодный пот и заструился вниз по бокам тонкими нитками. Ещё неизвестно, что случилось с пистолетом у громилы... Хорошо, если кончились патроны. А вдруг это обычная осечка и со второго раза патрон сработает? Если патрон перекосило, то громила может с ним легко справиться, выбить его и выстрелить, с другой стороны, Костюрин сейчас может сам стрелять – руки-то у него развязаны...

Он двумя длинными прыжками, будто гнался за нарушителем границы, обогнул налётчика с ножом и что было силы двинул кулаком по лицу громилы с пистолетом. Кулак соскользнул с твёрдого горбатого носа и, вплевшись в губы, размял их. Губы, в отличие от носа, будто бы вырезанного из кости, оказались слишком дряблыми, неприятно было ощущать, что кулак словно бы в свежую коровью лепёшку всадились, разбрызгал по сторонам вонючие ошмётки.

Громила ойкнул, согнулся, следующим ударом Костюрин выбил у него из руки оружие. Пистолет с грохотом отлетел в сторону, всадились в камень, валявшийся на асфальте, и завертелся обиженным волчком. Налётчик прижал к лицу ладонь с кривыми корявыми пальцами, всхлипнул обиженно. Сквозь пальцы у него потекла кровь.

Костюрин сделал рывок в сторону, к налётчику, выставившему перед собой нож, как штык, с ходу махнул ногой, всадились сапога в кулак, из которого торчало лезвие, вложив в удар всю ярость, скопившуюся у него, попал по костяшкам пальцев. Громила заорал – такие удары здорово осушают руку, кулак разжался сам по себе, нож с тихим звоном шлёпнулся ему под ноги.

– И-и-и-и, – громила сменил ор на вой, затряс рукой. Костюрин ногой отбил нож подальше от громилы и заломил ему сразу обе руки. Выкрикнул, целя в ухо:

– Ну что, гад?

– Отпусти, командир, – ноющим голосом, не отрывая ладони от окровавленного лица, попросил первый налётчик, – наехало, понимаешь... Больше не будем.

Костюрин развернул налётчика с заломленными назад руками к себе задницей и силой пнул его сапогом в кормовую часть.

– Пшёл отсюда, вонючка!

Налётчик с воем унёсся в темноту. На асфальт шлёпнулась кепка, но налётчик за ней не вернулся. Следом за ним, стеная и плюясь на ходу, отправился бандит с окровавленной физиономией. Костюрин подобрал нож, поднял пистолет и устало спросил у женщины, продолжавшей стоять у ржавой ограды:

– Как, гражданочка, чувствуете себя?

– Более-менее, – ответила та, и тут Костюрин увидел, что её и гражданочкой звать ещё рано, слишком она молода.

Тоненькая, с большими тёмными глазами и нежной, почти прозрачной кожей, она была одета в костюм, который в мире буржуев принято называть деловым – ничего общего с одеждой комсомолок той поры, любивших красные косынки и просторные толстовки, способные скрыть любое уродство, делающие все фигуры одинаковыми: и ущербные и идеально стройные, – наверняка служила в каком-нибудь важном учреждении, может быть, даже в Смольном.

– Эти гопстопники испугали вас?

– Немного... Чуть-чуть, – на бледном лице девушки появилась улыбка.

– Пойдёмте, я вас провожу до дома, – решительно произнёс Костюрин. Девушка сделала протестующее движение, но Костюрин, одёрнув на себе гимнастёрку, взял её под локоть. – Пойдёмте, пойдёмте, я вас одну отпустить не могу. Слишком опасно стало ныне ходить по петроградским улицам...

– Не беспокойтесь, товарищ командир!

– Пойдёмте! Вы же сами будете смотреть на меня, как на распоследнего контрреволюционера, если я вас отпущу одну...

– Почему контрреволюционера, а не, скажем, буржуазного отщепенца, товарищ командир?

– Что в лоб, что по лбу, милая барышня, всё едино. Только приговоры разные.

– О-о, насчёт приговоров – это уже что-то сугубо специфическое, из разряда юриспруденции или чего-то в этом роде, – девушка быстро пришла в себя и намёка на то, что ещё десять минут назад взывала о помощи, уже не было – всё осталось позади.

Хоть и темно было на улице, ни один фонарь не горел – в Петрограде наступил час гопстопа, даже красного комиссара, если у него с собой нет пулемёта, могут раздеть и разуть... Это Костюрин знал хорошо.

С чёрного низкого неба посыпалась холодная пыль – настоящих дождей в Петрограде в том году было мало, а вот водянистая пыль, похожая на холодный пар, сыпалась постоянно, но народ на неё внимания не обращал – питерцы вообще были привычны к влаге и зонтов с собой почти не носили.

Так и эта девушка.

– А вы, я смотрю, выстрелов этого биндюжника совсем не испугались, – одобрительно заметил Костюрин, на ходу засовывая отобранный пистолет в полевую сумку. Нож он определил в другое место – заткнул за голенище сапога.

– Что вы, я страшная трусиха, – смущённо призналась девушка, – просто жуткая.

– Но выстрелов-то не забоялись.

– Это от неожиданности, – девушка потёрлась щекою о плечо, жест был трогательным и доверчивым, и Костюрин, считавший себя суровым человеком, неожиданно размяк, внутри у него возникло что-то тёплое, незнакомое. Начальник заставы даже не понял, что это и что

вообще с ним такое может произойти, он ощутил в себе необходимость обязательно защитить этого человека.

– А где вы работаете, если не секрет? Или служите?

– Не секрет. В театре.

Костюрин от неожиданности даже остановился.

– Вы артистка?

– Хотелось бы быть. Но мест свободных в театре нет. Заведую постановочной частью, – и, увидев непонимающее лицо Костюрина, пояснила: – Декорации, театральные костюмы, грим – это всё по моей части.

– Понятно. А в артистки никак нельзя?

– Надеюсь, что в будущем так оно и произойдёт. Очень надеюсь...

– А вы и петь умеете?

– Конечно, умею.

– И на гитаре играете?

Через пять минут Костюрин уже знал, что эту девушку, красивую, словно бы вобравшую в себя всю печаль города, зовут Анной, фамилия её Завьялова, и поёт она, наверное, так, что вселенская щемлящая грусть охватывает душу, мешает дышать, рождает слёзы и тепло одновременно. Относилась Аня к тому типу женщин, которые никогда не бывают старыми.

Впрочем, Костюрин не мог похвастать тем, что хорошо знает женщин. Скорее, наоборот.

На углу двух улиц они остановились.

– Тихо как, – сказала Аня, – совсем не верится, что ещё пятнадцать минут назад какой-то небритый дядя в вас стрелял...

– А вас хотел ограбить.

– Да-а...

– Это – Петроград!

Петроград. Характеристика короткая, точная и ёмкая.

Жила Анна недалеко от Костюрина, у тётки, дамы строгой, чопорной и умной. Анна побаивалась её.

– Я вообще побаиваюсь умных людей, – сказала она.

– Почему?

– Потому, что они умнее меня. Я – из той породы, что перед всяким умом испытывает робость.

Костюрин улыбнулся: вот неожиданное признание! Очень искренний и очень открытый человек эта Аня Завьялова, неискренний никогда бы в этом не признался.

У Аниного дома, такого же строгого, возведённого в классическом духе, как и дом, где жил начальник заставы, они остановились. Костюрин спросил с сожалением, которое не смог скрыть, впрочем, он и не очень старался скрыть:

– Мы уже пришли?

– Пришли.

Задрав голову, Костюрин пробежался взглядом по небу, на котором не было ни одного светлого пятна, произнёс озабоченно:

– На заставе будет тяжёлая ночь.

Аня сочувственно наклонила голову:

– Вы – пограничник? Нарушают границу часто?

– Бывает, – неопределённо ответил Костюрин.

– Беляки?

– И они тоже, – тут Костюрин неожиданно замялся, переступил с ноги на ногу и нерешительно проговорил: – Аня! – проговорил и умолк. Лицо у него обузилось, словно бы он собирался идти в атаку, на лбу возникли морщины, губы сделались непослушными. – Аня!

Что-то с Костюриным произошло, а что именно, он и сам не знал. Пока не знал... Наверное, такое иногда бывает с людьми.

– Да! – Аня вопросительно глянула на Костюрина.

– Давайте как-нибудь встретимся ещё, – наконец решился Костюрин, одолел препятствие, возникшее в нём.

– Давайте, – не стала жеманиться Аня, – приходите к нам в театр... Или ещё лучше – у нас в квартире стоит телефон. Запишите номер и позвоните. Мы договоримся.

Костюрин готовно, будто мальчишка, закивал головой, достал из сумки блокнот и карандаш... Сдержать предательской улыбки он не смог – это была, если хотите, победа, его личная победа над самим собой. И как только люди относятся к прекрасным мира сего без внутреннего трепета и робости, Костюрин не знал. Он так не умел...

Глава вторая

Советская власть молодому питерскому учёному Владимиру Таганцеву не нравилась. Не нравились матросы, умеющие лихо цыкать сквозь зубы; не нравились бывшие проститутки, нацепившие на головы красные косынки, нарядившиеся в кожанки и объявившие себя комиссаршами – шлёпнет такая иного столичного интеллигента и не поморщится; не нравился Ленин с его жёсткой картавинкой, – больше нравился Троцкий, желчный, как перец, второй после Ленина человек в России, с пронзительными, будто у ястреба, глазами, очень цепкий; не нравился беспорядок на петроградских улицах – много грязи, много нищих, много ободранных, в лаптях и заплатках крестьян, которые надеются зашибить в городе немного денег и увезти их в деревню, чтобы подпитать своих детей, но не у всех это получается. Крестьяне приезжают сюда и уезжают толпами, грязи после них остаются горы – не свернуть... Много чего не нравилось Таганцеву в новой власти и в новых порядках.

Он решил бороться. Бороться можно, конечно, по-разному. Можно взять пару браунингов и явиться на какую-нибудь современную маёвку, на которой будет выступать Ильич, и пальнуть в него – это один метод; можно хорошо поработать и стать важным большевистским функционером, например, наркомом, – и там уже, находясь наверху, основательно поработать лопатой, попытаться в горных высях закопать советскую власть – это второй способ; сделать то же самое в армейских рядах – третий способ; можно пойти по усложнённому, самому медленному пути – создать свою организацию, вовлечь в неё побольше народа, от домохозяек и библиотекарей до краскомов и заводских инженеров, и раскатать советскую власть – это четвёртый путь... И так далее.

Вот именно четвёртый путь, последний из перечисленного, и казался Таганцеву наиболее перспективным. Разработкой его он и занялся: начал потихоньку сколачивать группу, которую заранее назвал, – группы ещё не было, – довольно лихо, ему даже самому понравилось: «Петроградская боевая организация».

Отец у молодого Таганцева был известен на весь Петроград, если не более – на всю Россию: старший Таганцев был самым крупным в стране специалистом по международному праву, к нему приезжали консультироваться даже из Владивостока. Более того, старший Таганцев когда-то принимал экзамены у самого Ленина.

Молодой Таганцев хотел на всякий случай посоветоваться с отцом, но потом раздумал – вдруг папая с ним не согласится, вспомнит бледного, с рыжей вялой бородкой студента, спешившего жить и поскорее сдать все экзамены, и заявит, что бредовая идея зажечь мировой революционный пожар и основательно раскочегарить его есть не самая достойная в жизни цель, и тогда сыну будет очень трудно отработать задний ход – ведь против отца выступать тяжело. Повертелся, повертелся молодой Таганцев, терзаемый разными сомнениями, и захлопнул рот на замок, ничего не сказал отцу.

Может быть, и напрасно – потом молодой Таганцев жалел об этом. А пока что было, то было.

Профессия у Таганцева была хорошая, нужная при всяком строе – и при царе, и при анархистах, и при социалистах с кадетами, и при Советах с разными примкнувшими к ним партиями, – геолог, но поскольку геологией пока никто не занимался, не до того было, Таганцев пошёл служить в контору, занятую поисками топлива, в частности, разработками того, как из птичьего помёта делать бензин, из водорослей спички, из коровьих рогов обода для колёс, из дерева сахар, а из болотной воды масло для паровозов.

Вонючая болотная вода и оказалась самой пригодной для воплощения новых сногшибательных идей, революционных, можно сказать: именно болота были богаты залежами горючего материала сапропеля – так учёные коллеги Таганцева называли обычный торф, более того, они

создали целый комитет, который выпендренно называли Сапропелевым. Впрочем, комитет занимался не столько наукой о торфе, сколько самим торфом – где его взять и взять как можно больше. И все исходящие из этого обстоятельства просчитать. Главное из них – как ловчее, быстрее и дешевле доставлять горячий торф в Москву, в Питер, в другие крупные города России.

Именно над этим и приходилось ломать голову Владимиру Николаевичу Таганцеву, это был его участок временного, но верного служения большевикам.

Идея создать мощную подпольную организацию, которая могла бы свернуть голову красной власти, была не нова – до «Петроградской боевой организации» в городе действовал «Национальный центр». Задачи у центра были такие же, что и у «Петроградской боевой организации», и флаг того же цвета, и программа из того же набора слов – всё было то же. Руководили центром люди неглупые, сумели наладить связь с Гельсингфорсом и Парижем, своих ходяков смогли заслать даже в Лондон – попросить там, чтобы центру позолотили ручку и помогли деньгами, материалами, стволами, в конце концов, но какое-то колёсико в налаженной работе сломалось – хлоп и не стало его, а через некоторое время к руководителю центра явились люди с суровыми лицами, в кожаных тужурках:

– Собирайтесь, гражданин! Хватит отплясывать радостного гопака на поминках революции.

Следом были арестованы ещё несколько человек. Младший Таганцев входил в эту организацию, вернее числился в её списках, но ничего серьёзного сделать не успел, пробовал скрываться и успешно делал это, но когда вернулся в Петроград, люди в кожаных тужурках подхватили под микитки и сунули в автомобиль, окрашенный в тусклый серый цвет.

Руки у тужурок были цепкие – не вырваться.

Хорошо, что об аресте сына очень быстро узнал отец, надавил на все рычаги и педали, пустил в ход все свои связи, сходил в гости к Горькому, с которым был хорошо знаком, и через пару недель бледный, трясущийся, очень испуганный сын вернулся домой.

Испуг вскоре прошёл, младший Таганцев обрёл нормальный цвет лица, руки у него перестали трястись, появился аппетит, мозги начали работать немного лучше – в чека их не отбили, и Владимир Николаевич решил создать свою организацию, более серьёзную, чем «Национальный центр», во всяком случае такую, чтобы её не смог раскрыть первый попавшийся дворник или сборщик костей, поставляющий свой товар на пуговичную фабрику и в артель по изготовлению мыла и клея одновременно. Главное – вопрос конспирации, чтобы никто ни гу-гу, чтобы все секреты находились в шляпе и не выпадали из неё вместе с волосами.

После этого и возникла «Петроградская боевая организация». В первую очередь Таганцев-младший включил в неё своих друзей-геологов, потом кое-кого ещё из мира науки, затем военных, и пошло, и поехало... Дело «дошло и доехало» до того, что в организацию вступило несколько монархически настроенных домохозяек, следом – пара человек, совмещающих должность дворника с постом «ночного директора», как в ту пору величали сторожей, ночующих в конторах на директорских столах, далее – все, кто хотел.

Главное в их деле – секретность, считал Таганцев, всё надо вершить так, чтобы даже кусачие петроградские комары ничего не знали, не говоря уже о мухах и прочих летающих и ползающих существах. В том числе и те, кто носит потрескавшиеся кожаные тужурки. Победа в конце концов придёт обязательно – советская власть задерёт лытки вверх.

А пока Таганцев жил раздвоенной жизнью – ходил на работу в Сапропелевый комитет, служил большевикам, поставлял на столы комиссарам нужные бумаги, выкладывал свои сообщения по части добычи торфа – это было днём, а вечером встречался с военными, колдовал над картами, думал, как бы половчее спихнуть бывшего отцовского студента с кресла, которое тот занимал, из Смольного прогнать петроградских комиссаров и развернуть государство в другую сторону, поставить на новые рельсы – хватит паровозу загонять вагоны в тупик.

Таганцев-младший нашёл тропку, ведущую в Великое княжество Финляндское, ставшее самостоятельным государством, с помощью двух бывших офицеров, ныне считающихся красными командирами, прорезая дверцу в пограничной полосе, – создал так называемое окно и удовлетворённо потёр руки: теперь закордонная помощь польётся в Петроград рекой – и деньги у них будут, и оружие, и даже золото, если оно, конечно, прибьётся сюда. Зарубежные центры ничего не пожалеют для того, чтобы здесь, в Советской России, запольхал пожар.

Об этом самом окне и предупредил Костюрина начальник разведки – об окне стало известно гораздо раньше, чем в прорезанной дырке появился первый посланец.

Посланец проник в Питер без всяких приключений, всё прошло на удивление гладко, так гладко, что Шведов, – а первый бросок через окно в Совдепию совершил он, – даже не поверил этому: неужели ничего не произойдёт по дороге и даже не удастся пострелять?

Нет, ничего не произошло. Шведов, который уже полтора года не был в Петрограде, изумлённо оглядывался, всматривался в лица встречаемых людей и совал руку под полу пиджака, где у него был спрятан маузер. В любое мгновение он готов был выдернуть оружие и открыть стрельбу.

Но стрелять не пришлось. На питерских улицах Шведова также никто не остановил. Хотя и обладал посланец белого зарубежья острым зрением, хоть и хвастал иногда, что может различить пулю в полёте, а не засёк неотступно двигавшегося за ним невзрачного человека в кепке-восьмиклинке, тогда входившей в моду в рабочем Петрограде, небрежно помахивавшего прутиком – шлёпал тот человек себя по штанине и засекал всё, на чём останавливал свой взгляд Шведов.

С трамваем Шведов связываться не стал, он рассчитывал только на «свои двои», обутое в крепкие, сшитые из яловой кожи сапоги: прошёл одну улицу, вторую, влился в плотный людской поток, запрудивший третью улицу, свернул на улицу четвёртую – он шёл к профессору Таганцеву.

На четвёртой улице, тесно застроенной длинными, облупившимися за годы Гражданской войны домами, из подворотни – какой именно, Шведов даже не засёк, – вылезла невысокая черноглазая девчушка, похожая на знойную евреечку, окликнула негромко:

– Дядечка!

Шведов стремительно сунул руку под полу пиджака.

– Хлеб есть?

Сощурившись недобро, Шведов произнёс наставительным тоном:

– Хлеб надо заработать.

– Я не бесплатно, дядечка, – воскликнула евреечка и ловким движением подняла платье. Под платьем ничего не было – ни рубашки-комбинашки, ни трусиков, голенький лобок был покрыт едва приметным чёрным пушком.

Шведов брезгливо сморщился.

– Сколько тебе лет?

– Это неважно, – высокомерно произнесла девчушка.

– Довели страну большевики, – Шведов сплюнул под ноги и потопал дальше. Исходила от него некая сила, которая одних притягивала к нему, других отталкивала, жёсткое плоское лицо его часто меняло выражение.

– Дядечка! – послышалось у него за спиной.

Шведов поморщился недобро, обернулся: за ним, неслышно ступая по асфальту ногами, обутыми в самодельные тапки, сшитые из брезента, увязалась евреечка.

– Ступай отсюда! – грозным приказным тоном произнёс Шведов. – Ну!

– Я недорого возьму, дядечка, – умоляющим голосом проговорила евреечка...

– Сказал тебе – ступай отсюда! – Шведов увидел, что у железной ограды, которой был обнесён крайний дом, обломился один прут, ухватил его поудобнее и через мгновение выломал

с корнем – сила у Шведова имелась, недаром он по утрам баловался двухпудовыми гирями, – сжав зубы, он завязал прут в восьмёрку и бросил под ноги онемевшей евреечке. – Не ходи за мной!

Девчушка остановилась, всхлипнула, а затем презрительно бросила ему вслед:

– Дурак!

Через полчаса Шведов оказался у дома, в котором жил руководитель «Петроградской боевой организации», остановился у среднего подъезда, внимательно огляделся, стараясь не пропустить мимо своего взгляда ни одной детали. Засёк двух старух, вынесших из дома скамейку и усевшихся на неё с двумя поллитровыми банками семечек, – лушили они подсолнуховые семена с такой скоростью, что плотные струи шелухи непрерывно летели в обе стороны – работали старухи, как машины; следом остановил взгляд на цыганке, гадавшей по ладони какому-то работяге, похожему на угрюмого чёрного коня; потом – на стае беспризорников, подбивавших ногами зоску – свинцовый пятак с прикреплённым к нему куском собачьей шкурки, это было сделано, чтобы зоска лучше летала и была управляема; двух подвыпивших мужиков с газетными кулками на плешивых головах – видать, ремонтировали дядьки чью-то квартиру, кулки на бестолковках не держались, постоянно съезжали набок – он ничего не пропустил, опытный человек Вячеслав Григорьевич Шведов, и ничего опасного для себя не засёк.

Стоять, светиться на улице не было никакого резона – те же старухи, любительницы подсолнуховых семян, могут запросто сдать его, и Шведов, в последний раз окинув оценивающим взглядом улицу, неспешно вошёл в подъезд.

Хвоста не было – он был в этом уверен. В подъезде постоял с полминуты, прижавшись спиной к холодной батарее – привыкал к полумраку, чутко слушал пространство; а вдруг наверху тоже кто-нибудь стоит, дышит нервно, прогоняя затхлый здешний воздух через две сопелки, Шведов обязательно его засечёт и уйдёт, даже не заглядывая в квартиру к новоявленному петроградскому подпольщику, но ничего подозрительного не заметил. Подъезд как подъезд, только очень сильно пахнет мышами – видать, на чердаке лежит слишком много книг, вот мыши и употребляют их потихоньку на завтраки и обеды. Не обнаружив ничего опасного, Шведов поднялся по лестнице вверх, к квартире, где жил профессор Таганцев.

Шаг его был твёрдым и одновременно бесшумным, в армии ходить так умеют, наверное, только пластуны: особая категория людей, которая и в разведке преуспевала, и города малым числом брала, и войны выигрывала – прообраз нынешнего спецназа.

У дверей квартиры Шведов также остановился, послушал: что там внутри, в самой квартире?

Тихо. Шведов решительно протянул руку к бронзовой бобышке звонка, с силой крутанул её. Потом крутанул ещё два раза, послабее, много слабее, таков был условный сигнал: один длинный звонок и два коротких.

За дверью скрежетнул ключ, и на пороге возник невысокий, начавший полнеть человек с приятным улыбчивым лицом, плотными, хорошо выбритыми щеками и прищуренным, будто он заглядывал в орудийный ствол, взглядом.

– Отец просил передать вам, что он на два дня уезжает в Москву, – неторопливо проговорил Шведов. Это был пароль для связи, так было обговорено, Таганцев сам придумал этот пароль. Отзыв: «Спасибо, я об этом уже знаю», его Шведов также запомнил хорошо, из головы ножом не выскребешь.

– Спасибо, я об этом уже знаю, – с облегчением произнёс хозяин квартиры, посторонился, пропуская гостя в прихожую.

В доме было тепло, в прихожей стояли две переносные деревянные вешалки с круто изогнутыми рожками, похожими на ветки диковинного дерева. Шведов повесил на один из рожков свою фуражку.

– Прошу вас! – по-птичьи вздёрнув голову, пригласил Таганцев, рукою показал на проход, ведущий в кухню.

Шведов молча склонил голову и, сосредоточенный, прямой, неожиданно переставший излучать силу – он вновь погрузился в себя, и это Таганцев тоже почувствовал, – первым последовал в кухню, сел на старый венский стул, стоявший у круглого деревянного стола с поблеклым и кое-где уже облезшим лаком. Стол был накрыт чистой льняной скатертью. Впрочем, неказистая скатерть эта была мала, Таганцев невольно поморщился: вечно Маша эта на всём экономит – гостей принимать неудобно, но в следующую минуту одёрнул себя.

– Извините! – пробормотал он неловко, как-то боком придвинулся к печушке, распахнул тяжёлую, отлитую из чугуна дверцу. – Эта машина такая: не подтопишь – не согреешься, – кинул в слабо горевшее нутро ещё два тёмных брикета.

– Наземным топливом топить печку?

– Сапропелем, прессованным илом.

– Сапропель, сапропель. Хорошее слово для пароля.

– Можно использовать.

– Придёт время, – Шведов улыбнулся, едва приметно раздвинув тонкие, твёрдые и невероятные сухие губы. Таганцеву захотелось как можно скорее предложить гостю чая.

– Собственно, ради этого мы с вами и встретились, – чистым и звучным голосом проговорил Таганцев и невольно покосился на дверь: а не слышит ли их кто? Квартира была пуста.

Гость в ответ ничего не произнёс, легко побарабанил пальцами по столу, произнёс задумчиво, словно бы для самого себя:

– Сапропель! Наверное, Владимир Николаевич, горит он, но всё-таки не греет.

– Хоть горит-то. Один вид пламени уже приносит тепло. Если руки не греет, то душу-то уж точно не отапливает.

– Это, Владимир Николаевич, из области философии, из высоких материй, а я земной человек, даже больше, чем земной – грешный, уязвимый, подверженный порче, – мне больше то подходит, что греет руки. Душа – дело второе.

– Считайте, что в этом вопросе мы с вами расходимся.

– Благодарю вас, – Шведов наклонил голову. Таганцев подумал, что Шведов, как военный человек, обязательно должен относиться к нему, невоенному, а значит, чужому, слабому, свысока, и это вызвало у него ноющее чувство, виски начало щипать, он приготовился в ответ на резкость сказать что-нибудь резкое, но Шведов произнёс примиряющее: – Если с вами пойдём в одной упряжке, у нас не будет, – он споткнулся, подумал немного, поправился, – у нас не должно быть разногласий ни в одном из вопросов, Владимир Николаевич!

– Я этого тоже хочу.

Что-то не складывался у них разговор. Таганцев не мог даже точно определить, в чём дело – то ли сбивала шведовская обособленность, его колючесть и высокомерие, то ли он сам не мог до конца довериться гостю, срабатывали внутренние тормоза.

Но останавливаться на полпути было нельзя.

– Простите, Владимир Николаевич, за незнание и серость, но что за должность большевики определили вам в Сапропелевом кабинете? Он за Академией наук числится?

– Совершенно верно. Должность звучная – учёный секретарь.

– Действительно пышно звучит. Люди, которые придумывают подобные титулы для разных мелких контор, относятся к двум противоположным категориям: либо они очень сильные, либо очень слабые.

– Большевиков слабыми назвать нельзя.

– Но и сильными тоже.

– Лучше преувеличивать мощь врага, чем преуменьшать, в результате неожиданностей меньше бывает, – в голосе Таганцева появились упрямые нотки.

Шведов склонил голову набок, в маленьких глубоких глазах его возникло жёсткое выражение. Этот человек не любил, когда с ним спорили, и Таганцев, опережая его, произнёс громко, тоном, не терпящим возражений:

– «Сапропель» – плохой пароль. Только для провала. Начало ниточки, за которую можно сдёрнуть с крыши ласточкино гнездо.

– Ласточки вьют гнёзда не над крышами, а под крышами.

– От «над» до «под» вообще-то большое расстояние, но в данном случае разница столь невелика, что её надо в лупу рассматривать.

– Странно, – неожиданно задумчиво произнёс Шведов, – мы с вами встретились, чтобы стать друзьями и единомышленниками, а разговариваем... – он махнул рукой. – И говорим-то ни о чём!

– Вы правы, – Таганцев понизил голос, – но лучше уж сразу обозначить все ориентиры, чем заниматься этим потом. Так в стрельбе можно промахнуться. – Помолчав немного и словно бы вспомнив о чём-то, досадливо поджал губы, на лицо его напознали морщины, он постарел. Надоели уколы, пикировка, расспрашивание, ирония над должностью «учёный секретарь», а он действительно учёный секретарь, и действительно учёный, самый настоящий. Не ровен час наступит пора, когда он будет избран президентом Академии наук. Он поставил чайник на «буржуйку». Брикеты ила в печушке разгорелись, пламя подало голос – пройдёт несколько минут, и «буржуйка» раскалится. Произнёс примирительно:

– Не будем об этом, не будем. Вы хорошо знакомы с Юлием Петровичем Германом?

– Да.

– Значит, нет необходимости характеризовать вам штабс-капитана?

– Бывшего штабс-капитана.

– Придёт время – всё вернётся на круги своя, – Таганцев подкинул в печушку ещё пару брикетов сухого ила. – И вы, конечно, знакомы с событиями, происшедшими с «Национальным центром»?

– Печальные события. Знаком и с ними.

– Меня тоже пытались под них подписать, но слава Богу, нашлись хорошие люди. Заступились. Но всё равно я предпочёл на время исчезнуть. Жил в Москве, менял квартиры, чувствовал кожей чекистов, да не дано им было... Если бы не заручительство Горького – обязательно бы взяли.

– Горького? – Шведов удивлённо приподнял брови, и Таганцев увидел, какого цвета у него глаза – тёмного, осеннего, когда идёт дождь и кругом хмарь, нет силы, чтобы разогнать темень облаков и неба, – ни ветер этого не может сделать, ни люди, – а в глубине зрачков колебалось, помигивало маленькое неяркое пламя. Увидев это пламя, Таганцев подумал: злое оно, может больно обжечь. – На что вам сдался большевистский писатель?

– Знаете, Вячеслав Григорьевич, любые способы защиты хороши. Если б не Горький, лежать бы мне сейчас с пулей в черепе среди таких же интеллигентов, как я, как вы – ничто не уберегло бы. Хорошо, что и я сам, и отец сумели доказать Горькому мою непричастность к «Национальному центру».

– А вы были здорово причастны? – злой пламенёк в шведовских глазах погас, брови выдвинулись вперёд, защитили взгляд, спрятали его в своей тени.

– Какая разница, Вячеслав Григорьевич, был или не был? Главное, что сумели доказать – не был причастен. Хотя на самом деле я был причастен... Но спасибо пролетарскому писателю!

– Раз уж речь зашла о «Национальном центре», с целями и задачами «Национального центра» вы были хорошо знакомы?

– Более чем.

– Разделяете их?

– Целиком и полностью!

– У «Петроградской боевой организации» есть своя программа?
– Без программы мы и шага не делаем. Есть программа. Составлена, обсуждена, поправлена и утверждена на заседании руководящего комитета нашей организации.
– Какова главная ваша цель?
– Свержение советской власти. Других целей нет.
– Эт-то хорошо, – удовлетворённо произнёс Шведов, потёр руки, потом подсел к печке, взял из эмалированного таза несколько тёмных, в остях, шелушащихся брикетов торфа и кинул в печку. Голыми пальцами, не боясь обжечься, взялся за головку дверцы, прикрыл пламя. – В этом состоит и наша главная цель. Общая цель – и ваша, и наша. А «Национальный центр» мне очень жаль, толковая была организация, хорошо начала дело, неплохо работала, жаль, что недолго, – да не повезло ей...

Для молодого Таганцева сообщение о разгроме «Национального центра» было сродни удару тяжёлым предметом по голове, он ничего и сообразить не успел, хотя и ездил в Москву, и переживал трудное время там, как оказался арестованным сам, даже впал в некий ступор, а когда пришёл в себя, когда его освободили, решил, что действовать надо крайне осторожно, а от суровых лиц и кожаных тужурок – спастись, бежать, как заяц бежит от охотника. И вообще...

Таганцев вспомнил пору, когда были арестованы члены «Национального центра», как самое худшее время в своей жизни – не только небо, даже солнце над головой было чёрным. Ночью, когда в звучной темени ярко и дорого сверкали звёзды, переливались занятно, таинственно, он не видел звёзд, не слышал выстрелов, если они звучали рядом – а ночи и в Петербурге, и в Москве были лихие, выстрелы раздавались часто, были слышны крики и хрип людей, неясные личности громыхали ногами по крышам, забирались в чужие дома, грабили, убивали, а когда их накрывали, отстреливались люто, до последнего патрона.

Главное для Таганцева было заручиться поддержкой, затеряться и выжить. Выжить, только выжить – этому была подчинена каждая клетка тела, каждый нерв Таганцева. В Москве он более двух дней не проводил в одной и той же квартире, боялся, что чекисты нагрянут, и уходил. Несколько раз появлялся у Горького, тот, отзывчивый, добрый, привыкший помогать, непременно принимал его, оглаживая рукой густые, с рыжеватой искрой усы, выслушивал, устало щурил глаза, думал о чём-то своём, как казалось Таганцеву, далёком, и Таганцев понимал – не верит ему Горький, не имеет права верить, и Таганцев, частя и путаясь в словах, прикладывал руку к груди, убеждал писателя в том, что он верен советской власти, честно служил в Сапропелевском комитете, знаком со многими комиссарами, но так уж случилось, что его ни с того ни с сего пристегнули к вреднейшему «Национальному центру», к которому он не имеет никакого отношения. Есть, конечно, у него там несколько знакомых, но что это значит? В таком разе нужно хватать каждого третьего. А то и второго.

Он не знал, серьёзно вмешивался Горький в его судьбу или нет – просто в один момент почувствовал, что тяжесть, придавливавшая его к земле, ослабла. Таганцеву сделалось легче дышать, позже эта тяжесть вообще исчезла, и Таганцев вернулся в Петроград.

Первое время он вёл себя тихо, ходил с оглядкой, проверяя, а не пасёт ли кто его? Долгое время казалось, что его пасут, и он невольно сжимался, ему хотелось нырнуть куда-нибудь в земную глубь, раствориться в темноте, сделаться невидимым и неслышимым – состояние, как он понимал, привычное для человека, которого преследуют. Потом и это прошло. Человек забывчив. Исчезает не только память на события и имена – эта память слабая, исчезает память опасности, заложенная в памяти, в руках, в мышцах головы и ног, исчезает почти всё. Такое случилось и с Таганцевым. Он забыл, что происходило с ним, ожил, стал ощущать себя прежним Таганцевым – уверенным, свободным, убеждённым в том, что с ним ничего не случится.

Работы было много. Требовалось сочинить программу организации, хотя её надо было только зафиксировать на бумаге, это чисто механическая работа – программа ясна, словно

божий день, цель, как и программа, одна, никаких других побочных целей, мельчания нет. Надо было добывать деньги, материалы, оружие и, главное, найти нужных людей. Единомышленников. А ещё больше, ещё нужнее – прорубить «окно в Европу», к своим.

Он и прорубил... В результате здесь находится Шведов – судя по вопросам, которые задаёт гость, – с инспекторскими функциями. Таганцев изучающе глянул на Шведова. Это был человек, которого всё время требовалось изучать, он постоянно менялся, был то добрым, то злым, то собранным, очень внимательным, не пропускающим ни единой мелочи, то неожиданно становился рассеянным, смотрящим сквозь своего собеседника, и тогда Таганцев, считавший себя неплохим психологом, терялся – он не понимал своего гостя.

А гость рассеянным не был ни одной минуты, ни одной секунды – это была всего лишь маска, очень удобная для изучения собеседника: накроешься ею, как некой шляпой или накомарником, опустишь сетку, и всё – ты уже неуязвим.

Глядя на Таганцева, Шведов тоже терялся, не мог сделать однозначного вывода – он не понимал некоторых вещей... Таганцев был человеком неоднородным – сильным и одновременно слабым, умным и в ту же пору очень далёким от умных решений, осторожным и легко теряющим это качество... Пройти бы молодому профессору Таганцеву школу конспирации – цены бы не было ему.

Шведов мог, конечно, поставить Таганцеву жёсткую оценку – от этой оценки зависело, будет ли помогать Запад и, в частности, руководители эмиграции Таганцеву и «Петроградской боевой организации» (как помогали, к слову, «Национальному центру»).

Таганцев это, кажется, понимал. Так, во всяком случае, мнилось Шведову.

– А ваша жена где? – неожиданно спросил он. – Надежда Феликсовна где?

– О, вам даже известно имя и отчество моей жены?

– А как вы думали, Владимир Николаевич?

Таганцев с улыбкой помял пальцы, подул на них. Лицо его потеплело, глаза обрели мягкое выражение.

– Её нет, она вместе с сыном уехала под Питер, к родичам. У сына не всё в порядке со здоровьем, петроградский климат – не самый лучший для детей, поэтому жена с сыном временно переселились в деревню.

– Ну что ж, всё ясно, – Шведов так же, как и Таганцев, с костяным щёлканьем помял себе пальцы. – Всё ясно. – Оглядел убранство кухни, словно бы хотел запомнить обстановку, приблизился к окну, тёмному с изнанки, с внешней стороны, и светлому, чистому изнутри. Работница Маша в семье Таганцевых зря хлеб не ела. Посмотрел вниз, в зеленоватую темень пространства: что там, на улице? Спросил тихо, едва слышно:

– А где же Маша?

Улица была пустынна, по тусклым гладким камням неспешно волоклись хвосты пыли, смешанной со снегом, закручивались в толстые жгуты, украшались раструбами и устремлялись вверх – верный признак того, что ветер скоро усилится.

Ни одного человека на улице уже не было – ни бабок, с их банками, набитыми подсолнуховыми семечками, ни цыганки, ни беспризорников, – совсем как в вымершем городе... Вообще ничего живого не было.

– Маша? Машу я сегодня отпустил домой.

– Правильно поступили. Лишние свидетели в нашем деле ни к чему.

Шведов ещё раз осмотрел пустынную улицу и невольно поёжился: иногда ему, боевому офицеру, подполковнику-артиллеристу, прошедшему фронт, повидавшему, кажется, всё на этом свете, – а видел он такое, что не только на этом свете, на том, пожалуй, не увидишь, – делалось страшно... Для него, считавшегося человеком бесстрашным, это было в новинку.

Сделалось ему не по себе и в этот раз, будто на холодной мостовой, которую он рассматривал в окно, его поджидала смерть.

Глава третья

Шведов, пока находился в Петрограде, постарался навести справки о некоторых членах ПБО, как он у себя в записной книжке обозначил «Петроградскую боевую организацию», и прежде всего о самом профессоре, возглавившем её.

Владимир Николаевич Таганцев был учёным молодым, даже, пожалуй, очень молодым для профессорского звания – тридцать с небольшим лет, профессором, наверное, стал благодаря связям своего именитого отца, академика, гражданского генерала. Старший Таганцев имел титул действительного тайного советника и ещё несколько других титулов никак не ниже генеральского, – при царе был сенатором, членом Государственного совета, председателем Комиссии по тюремному преобразованию, – в общем, если всё изложить пером, то никакой бумаги на это не хватит...

Казалось бы, и сын должен был пойти по стопам отца, ан нет – после окончания гимназии имени К. Мея (как подозревал Шведов, это был тот самый великий ботаник Карл Мей, который предложил считать температуру таяния льда нулевой температурой, но слава вся досталась не Мею, а Цельсию) младший Таганцев увлёкся биологией, самостоятельно, без протекции отца поступил в Петербургский университет, где у старшего Таганцева был неоспоримый авторитет, при упоминании его имени коленки начинали дрожать не только у студентов, но и у многоопытных доцентов и даже у профессоров. Поосмотревшись в университетских коридорах, нашёл очень привлекательную для него кафедру географии. Более того, стал при ней младшим лаборантом.

Шведов по скудности сведений полагал, что молодой профессор Таганцев никогда не нюхал пороха, но это оказалось не так – нюхал, очень даже нюхал: с отрядом Красного Креста Владимир Таганцев не раз бывал на передовой, в окопах, там спасал раненых, вывозил их в Петроград, в Псков, в Нижний Новгород, случалось, и сам брался за винтовку, стрелял.

Когда вернулся в Петроград окончательно, то не узнал ни города, ни университета – ну будто бы с тяжёлого похмелья очутился в незнакомом месте, хоть пузырь со льдом прикладывая к лысеющему темени: от интеллигентного дворянского Питера осталось только воспоминание, тень, отзвук, ещё что-то незначительное и не более того: то ли война была в этом виновата, то ли революция, то ли землетрясение произошло – не понять, вполне возможно, виноват был и надвигающийся голод.

Через некоторое время Таганцев становится преподавателем кафедры географии, курс он читает умело, интересно и попадает под поспешную раздачу «пирожков». Наркомат просвещения нового государства, борясь со «старыми пережитками и тяжким наследием царского прошлого», решил упразднить учёные звания и степени, существовавшие раньше, и ввести единое «пролетарское» звание – профессор: если ты, товарищ, читаешь в университете самостоятельный курс, то имеешь полное право называться профессором.

Так что старший Таганцев не был к этому причастен никоим образом: сын его сам достиг этого, от советской власти получил подарок и стал профессором. Шведову оставалось только чесать себе затылок. Но «революционной скороспелкой», как выяснил закордонный гость, Таганцева в университете не считали – курс свой новоиспечённый профессор читал очень серьёзно и у студентов пользовался популярностью.

Поскольку Петроград замерзал, а топить печки-буржуйки, ставшие не столь модными, сколь необходимыми, было нечем – тепла требовали даже полумёртвые старухи, – был создан так называемый Сапропелевский комитет – организация на четверть научная, на четверть хозяйственная, на четверть партийная и ещё на четверть бог знает какая. Таганцев-младший введён в его состав, где вплотную занялся изучением торфа, палочки-выручалочки времён Гражданской войны. Тепла торф давал мало, но в печках дымил исправно; Таганцев стал часто

выезжать, между лекциями, в командировки: то в Вышний Волочёк, то в Вологду, то под Тверь, то ещё куда-нибудь...

Это было на руку «Петроградской боевой организации» – отделения ПБО не помешало бы иметь на периферии, в глухих медвежьих углях...

Шведов, загораюсь, даже потёр руки – перспектива открывалась великолепная, – сделал это с удовольствием, а потом понюхал ладони: не пахнут ли порохом? В эту минуту он не был похож на всем знакомого Шведова – горячий, порывистый, раскрепощённый, будто молодой необузданный мюрид из горского селения, способный совершить необдуманный поступок.

Хотя Таганцев и не произвёл на Шведова яркого впечатления и у бывшего подполковника имелись кое-какие колебания, сомнения всё-таки понемногу отсеивались, и Шведов всё больше и больше приходил к мысли, что Таганцев и его организация – то самое, что необходимо для свержения новой власти.

Погода тем временем сильно изменилась. С юга приползло тепло, много тепла, небо сделалось грязным, проломилось в нескольких местах, на землю пролился дождь. Стало понятно окончательно, что весна победила... Если раньше погода была разноликой, то тёплой, то холодной, например, день, когда Костюрин приехал с заставы в город, был по-летнему тёплым, Костюрин даже в гимнастёрке ходил, да и девушка, которую он спас от гопстопников, была в костюме, а не в пальто, через сутки всё изменилось – повалил снег и запахло зимой.

Сейчас же стало ясно без всяких оглядок назад: весна пришла и вряд ли уже уйдёт.

С Балтики, с Маркизовой лужи, как в Петрограде издавна привыкли величать Финский залив – слишком уж он мелкий, местами зацветает, будто обычный деревенский пруд, от преющих водорослей распространяется гнилой запах, – потянуло ветром, грязь с улиц смыло, мостовые вымыло дождём.

В Финляндию собралась уйти группа офицеров – в Советской России им нечего было делать, – руководимая товарищем Шведова по фронту капитаном Введенским, бывшим командиром пехотного батальона, и Шведов решил отправить с ним письмо со своими соображениями по поводу «Петроградской боевой организации». Сам он решил ещё на две недели задержаться в городе.

– Помощь в переходе через границу нужна? – спросил он у Введенского.

Тот, с красивым умным лицом и жёсткими, плотно сжатыми губами, отрицательно качнул головой:

– Нет. Дорожка проложена надёжная. Туда-сюда ходили уже несколько раз.

– Смотри, Георгий Георгиевич... У нас тоже есть возможность... И окно безотказное, и проводники имеются хорошие.

– Спасибо, не нужно.

Если днём тепло разлагало город, на глазах высушивало лужи, земля разваливалась, будто парная, выдавливая из себя мокреть и солнце не могло справиться сразу со всем хозяйством, то ночью с севера приносился стылый ветер, и тогда земля просыхала окончательно – ни одной слезинки не было видно.

Настроение у Шведова выдалось подавленное. Он сейчас находился в том самом состоянии, когда всё валится из рук, такое состояние бывает у всякого человека без исключения, хоть раз в жизни, но обязательно бывает. Ничего не клеилось, и Шведов напрягал свою волю, всё, что у него имелось, чтобы не сорваться. Еле-еле держался.

И погода худая была виновата в этом, и голод с холодом, и то, что он увидел в Петрограде. Единственное, пожалуй, что держало его в стоячем положении, так это «Петроградская боевая организация».

Поскольку в Финляндию уходила группа Введенского, то Шведов уселся за письмо основательно, рассчитывая, что оно достигнет не только Гельсингфорса, но и Парижа, возможно,

даже попадёт в руки к самому генералу Кутепову, который ныне – второе лицо после Врангеля в антибольшевистском движении.

«Организация, созданная в Петрограде – ещё сырая, но перспективная, – сообщил Шведов в письме, – её можно сделать очень разветвлённой, с отделениями, раскиданными по всей России.

Руководит организацией профессор Таганцев – человек несомненно умный, искренне ненавидящий красных и советскую власть, но в делах военных – совершенно неподготовленный, слабый. Поэтому крайне необходимо, чтобы в „Петроградскую боевую организацию“ вошли люди, способные поставить её именно на боевые рельсы, создать здесь военный штаб. В штаб нужно включить самого Таганцева – это само собою разумеется, нужно включить также Германа Юлия Петровича, в него готов войти и я. Если, конечно, вы посчитаете это необходимым...»

Послание своё Шведов закончил просьбой помочь «становлению организации, которая может изменить жизнь в современной России».

Вечером он отдал письмо Введенскому.

В жидкой предночной темноте Шведов так научился ходить по Петрограду, что ему не попадался ни один патруль. Патрули он распознавал за несколько кварталов, ни разу не столкнулся с людьми, вооружёнными винтовками и украшенными красными бантами и такими же нарукавными повязками.

Так это было и на этот раз.

– Вы рискуете, Вячеслав Григорьевич, – сказал Введенский, открывая дверь на условный стук.

– Нисколько!

– Вас может сцапать патруль.

– Пока, как видите, не сцапал. И не сцапает дальше.

Введенский поцекал языком и укоризненно покачал головой:

– Дай Бог, чтобы так оно и было.

Шведов вручил ему конверт:

– Передайте в Гельсингфорсе нашим...

– Всё будет сделано в наилучшем виде, – пообещал Введенский, подкрутил усы и повторил уверенно: – В наилучшем виде.

Возможно, так оно и было бы, если бы соратники не подбили Введенского на «экс» – по пути, перед прыжком за кордон, уговорили напасть на приграничную деревню и показать красным, кто на этой земле подлинный хозяин.

Введенский поначалу сопротивлялся этому плану, а вдруг он помешает беспрепятственному переходу на ту сторону, но потом сдался: в конце концов, солдат он или не солдат?

Но это произошло через несколько дней...

А пока Введенский вывел Шведова из дома через чёрный ход, первым выглянул во двор, а потом, из-за ворот, на улицу – нет ли там чего подозрительного? – весенняя улица была холодна и пустынна, и Введенский разрешающе махнул рукой гостю: можно, мол.

Подняв воротник лёгкого чёрного плаща, приобретённого уже здесь, в Петрограде, Шведов прощально кивнул и растворился в темноте. Введенский ещё несколько минут постоял у ворот, прислушиваясь к звукам, доносящимся из питерских углов, уловил далёкий одинокий выстрел и, равнодушно отмахнувшись от него, скрылся в доме, за дверью чёрного хода.

Глава четвёртая

Застава Костюрина располагалась в сухом сосновом лесу, на песчаной гриве, в сотне метров от пограничной полосы.

Бойцы сами, не привлекая мастеров со стороны, сколотили большой бревенчатый дом, чтобы хоромы держались лучше, не заваливались и не подгнивали; привезли несколько подвод камней и из них соорудили надёжный фундамент. Прежний командир заставы Рогожин, ушедший на повышение, расстарался и достал, как доложил Костюрину оружейник (он же по совместительству завхоз), двенадцать мешков цемента, цемент смешали с мелкой морской галькой, с песком и этой смесью скрепили основание дома.

В доме нашлось место и для оружейного отсека, и для командирского жилья. Чтобы начальство всегда чувствовало себя на службе, и днём и ночью, специально выделили две комнаты, одну для главного человека на заставе, для командира, вторую для его заместителя по боевой части – замбоя... Из удобств – умывальник в коридоре, один на двоих, с полочкой для зубного порошка, прибитой к стене, и мутным, косо обколотым куском зеркала, которое неведомый умелец обрамил несколькими ломтями коры, в зеркало это даже и физиономию особо нельзя было разглядеть, но побриться и приложить дольку колючего столетника к чирью, вздущемуся на лбу, можно было, и это вполне устраивало Костюрина.

Ночью Костюрин вместе с бойцами выезжал на конях на границу, проверял наряды – бойцов важно было держать в строгости, не приведи аллах, кто-нибудь из них даст слабину и, находясь в наряде, огласит окрестности храпом, – тогда и бойцу головы не сносить, и Костюрину будет «секир-башка», но подчинённый люд хоть и молодым был и по большей части своей не шибко грамотным, а революционную сознательность проявлял, храпа на границе не было слышно, подозрительных шорохов тоже, винтовки в крестьянских руках держались крепко, и при случае эти молодые люди, в большинстве своём комсомольцы, отпор давали умело.

А стрелять приходилось часто. И гоняться за плохими людьми, переходившими границу на коровьих копытах, привязанных к сапогам, тоже приходилось часто – уж очень много за кордоном собралось народа, которому не по душе было существование новой республики, назвавшей себя Советской Россией.

Ночью ездить по лесу сложно. Любой встречный сук способен снести полголовы, выручить может только конь – умный конь никогда не подставит своего хозяина, опасность постарается обойти, а конь у Костюрина был умный. Со странным именем Лось.

Передали его на заставу кавалеристы из охрannого эскадрона – не подходил он им по масти, и чулки на ногах у него были чуть выше положенного, и коленки имел вздущиеся, простуженные. Это у коня было с Гражданской войны... При первых же выстрелах, раздающихся впереди, Лось обязательно задирал голову, прикрывал хозяина от пуль – делал это специально, делал мастерски, на скаку, умел сутками ходить под седлом, не уставал, не боялся волков, нападал на них – бил серых не только задними копытами, но и передними.

С продуктами на заставе было не ахти как, как и везде голодно, и всё равно Костюрин умудрялся угостить Лося хотя бы куском плохо пропечённого, наполовину с картофелем хлеба, иногда угощал жмыхом. Жмых Лось тоже любил, а однажды ему досталась сладкая соевая конфета... Лось от лакомства был в восторге, положил хозяину на плечо тяжёлую голову и задышал звучно и горячо, будто верная собака.

Костюрина на границу сопровождал Логвиченко – круглоголовый, подтянутый, смышлёный, в «Рассею», как иногда среднюю часть страны называют дальневосточники, он приехал из Хабаровска, и тот далёкий город ему снился очень часто, когда он просыпался, то глаза у него были жалобными и влажными. Он любил Хабаровск, хотя знал, что никогда туда уже не

вернётся: отца с матерью у него зарубили калмыковцы и закопали в яме на окраине Хабаровска, на заброшенном пустыре.

Пустырь этот Логвиченко не нашёл, где покоятся отец с матерью, не знает, потому и влажнеют его глаза. На Первой империалистической войне Логвиченко провёл год, на Гражданской – полтора года. Имелась у него ещё и сестра, но она затерялась где-то на российских просторах. Логвиченко пробовал её искать, да, увы, безуспешно – пропала сестра. Может, её уже и не было в живых, но Логвиченко в это не верил.

По лесу он двигался за командиром, будто привязанный, не отставал ни на метр, дублировал все повороты, и конь у бойца был не хуже, чем у Костюрина.

Над головой начальника заставы, тяжело хлопая крыльями, пронеслась птица, всколыхнула чёрный прохладный воздух, гаркнула резко, хрипло, не понравились ей люди на лошадях. Костюрин остановил коня.

– Кто-то спугнул птицу, – едва слышно проговорил он.

– Может, зверь какой? – предположил Логвиченко.

– Нет, это был человек.

– Будем брать, товарищ командир?

– Не будем.

– Почему, товарищ командир? Это же нарушитель!

– Не будем, Логвиченко. Это приказ.

Логвиченко недоумённо приподнял одно плечо – не понимал он таких вещей. Может, начальник заставы – бывший беляк, контрреволюционный элемент? Вряд ли, не должен быть беляком, у Костюрина есть даже именное оружие, шашка, преподнесённая самим товарищем Блюхером. А Блюхер кому попало наградные шашки не выдавал. Логвиченко сделал протестующее движение, взгляделся в темноту, надеясь увидеть то, что видел начальник заставы.

Темнота ему показалась какой-то рябой. В чёрных деревьях возникало и пропадало что-то чёрное, сверху вниз беззвучно сыпались листья, ветки дрожали, словно бы их кто-то тряс, бойцу Логвиченко невольно сделалось тревожно.

Костюрин, не слезая с коня, продвинулся немного вперёд, наклонился к стволу одного из деревьев, отодрал кусок коры, помял его пальцами.

– Зверь, – произнёс он едва различимо.

– Что зверь, товарищ командир?

– Да зверь, говорю, о дерево тёрся – лось. А я думал – человек.

– Как определили? В темноте же ничего не видно... А?

– Кому как, – неопределённо отозвался Костюрин. – Послужишь года четыре, Логвиченко, и ты научишься видеть в темноте. Всею своё время.

– Всею своё время, – заведённо повторил за командиром боец. – У меня, когда я служил в дивизионе тяжёлых мортир, отделённый любил так же говорить. На любой вопрос у него был один ответ: «Всею своё время».

Половину империалистической Логвиченко провёл в экзотическом роде войск, обслуживал 280-миллиметровые мортиры, страшные, с гигантскими жерлами орудия. Когда мортира взрывалась выстрелом, под ногами подпрыгивала земля, грозя треснуть, будто гнилой арбуз. Логвиченко первые два месяца ходил глухой от выстрелов. Лекарь сказал, что у него покалечились барабанные перепонки, но потом это прошло. Уши зажили, но выстрелов мортир Логвиченко стал откровенно побаиваться – от разящего звука могли не только уши потеть, а физиономия могла запросто съехать набок и упереться носом в плечо... А ходить по лесу с носом, вросшим в плечо, штука не самая удобная. Не говоря уже о питерских улицах. Логвиченко навсегда запомнил фамилию конструктора, создавшего тот страх божий – мортиры: некий Шнейдер. Явно немец. Или еврей.

Немцев Логвиченко не любил. За страдания, которые те причинили России, за свои собственные страдания, хотя на войне ничего страшного с ним не случилось и ту пору он перенёс относительно легко.

Костюрин видел то, чего не видел его боец, и чутьё у командира было другим, более обострённым, иногда ему совсем необязательно было видеть, достаточно было почувствовать. В эту ночь через дыру в границе уходил на ту сторону человек, которого ему велел беспрепятственно пропустить начальник разведки, и Костюрин выполнил этот приказ.

Как выполнил и первый приказ – пропустил чужака на свою территорию.

Над головой у него, бесшумно взмахивая крылами, пролетела ночная птица, но это была не та птица, что раньше, другая, движение теней в гуталиново-вязком пространстве прекратилось, лес угрюмо застыл в сонной дреме.

– Возвращаемся назад, – скомандовал бойцу Костюрин, развернул Лося. – За мной!

Логвиченко, так ничего и не понявший, развернул коня вслед за командиром. В душе у него возникла и свернулась в вялый клубок некая обида – командир мог с ним и кое-чем поделиться.

Но делиться тем, что знал, начальник заставы не мог, не имел права. Да и бойцу, его подчинённому, пора бы усвоить одно золотое правило: меньше знаешь – лучше спишь.

Тревожно было на границе.

Через четыре дня после того, как неведомый человек нырнул через прорубленную дыру в Европу, оставив в недоумении прилежного бойца Логвиченко, в дозор с усиленным нарядом пошёл замбой Петя Широков, кроме винтовок пограничники взяли с собой «англичанку» – ручной пулемёт, с пулемётом любой наряд считается усиленным по-настоящему. Широков решил проверить бойцов: все ли готовы выступить на границу?

– Ну-ка, товарищи бойцы, попрыгайте, – велел он.

Бойцы попрыгали. В кармане у одного из них загромыхал портсигар. У другого зазвякал нож, висевший на поясе, стукнулся железным наконечником чехла о подсумок, туго набитый патронами.

– Э-э-э, – недовольно поморщился Широков, – так не годится. Ну-ка, выкладывай, что там у тебя в карманах, – велел он первому бойцу, – а ты, – замбой повернулся ко второму, – перевесь нож на другую сторону ремня.

– Извиняйте, товарищ командир, – виновато забормотал первый боец, выкладывая на землю портсигар, носовой платок с обтрёпанными краями – подарок любимой девушки из родной деревни, стальную полоску – заготовку для будущего ножика, кусок расчёски, истёртое огниво с кресалом и пучком плотно скрученной в фитиль пакли и две запасные пуговицы к гимнастёрке.

– Всё это, – Широков, поморщившись недовольно, ткнул пальцем в гору добра, извлечённого из карманов, – оставить на заставе, – подцепил двумя пальцами пуговицу, поднял с земли. – Имейте в виду – такая вот зачуханная хренотень может стоять жизни всему наряду. Понятно?

– Извиняйте меня, – вновь виновато пробубнил под нос оплошавший боец.

– Ладно, – сменил гнев на милость Широков. – Если у кого-то ещё карманы полны такого же добра – освобождайтесь! Пока не поздно...

Никто из бойцов не тронулся с места, даже не шелохнулся.

– Хорошо, верю вам, – сказал замбой, – будем считать, что всё в порядке. Курево тоже оставьте на заставе – дым может выдать нас нарушителям.

– Табак сдан в краевую комнату, – сказал Логвиченко, он тоже шёл в дозор, – я лично сдавал.

– Добро, – кивнул Широков, – тогда вперёд.

Красная полоска заката, полыхавшая ещё десять минут назад – её хорошо было видно с заставы, – сомкнулась с горизонтом, слилась с ним плотью, сделалось темно, холодно. Единственный фонарь, висевший во дворе заставы на ровном, окрашенном в крикливый салатовый цвет столбе, света давал мало, его совсем раздавила ночь, больше света давали окна канцелярии и командирской комнаты, где были зажжены керосиновые лампы. Чуть заметно серела в темноте тропка, по которой надо было уйти наряду.

Можно было, конечно, взять с собой лошадей, но тогда исчезла бы вся секретность дозора. Лошади быстро выдают себя, особенно в ночи, когда обостряются, делаются хорошо слышимыми все звуки, даже самые малые – и шебуршанье пытающейся уснуть на дереве вороны, и невесомая поступь лисы, выискивающей мышей в старых норах, и плеск рыбы в озёрке за воротами заставы, – поэтому Широков от «конной тяги» отказался.

Ничего надёжнее своих двоих для охраны границы ещё не придумано.

Лёгкой неслышимой трусцой Широков устремился по серой тропке в лес, увлекая за собой людей, – всего их вместе с замбоем было пятеро, – спустились в лощину, где росли толстые древние дубы с низко наклонёнными ветками, потом поднялись на небольшой взгорбок, и Широков перешёл с бега на шаг.

Ещё месяц назад здесь любила появляться рысиная семья – мамаша с дочкой. Рыси часто забирались на ветки, висящие над тропкой, и ожидали появления добычи: рысиха учила дочь охотиться. И хотя рыси на людей нападают редко, Костюрин понял, что эта парочка может причинить неприятности, и запретил пограничникам ходить поодиночке, только по двое.

Рысь – зверь хоть и невеликий по размеру, но если свалится с ветки на человека да вопьётся клыками в шею, в основание черепа, то устоять «венцу природы» будет трудно. А если поможет рысёнок-сеголеток, то шансов устоять у человека не остаётся ни одного.

Впрочем, рысиная семья делала засады не только на тропе, а и совершала длинные обходы, иногда, как подсчитал Костюрин, до ста километров в день.

В конце концов опасное соседство надоело, и начальник заставы устроил облаву, выстрелами отогнал рысье племя подальше в лес, в глубину, откуда мать с дочкой уже не вернулись.

В темноте на пограничников напал обгорелый душистый ствол старого дуба, в который весною попала сухая молния, и дуб запылал так, что его пришлось тушить ведрами, иначе бы запылали все деревья в округе. Широков, не издав ни одного звука, обогнул его, бойцы так же ловко совершили манёвр и, неслышимые, почти невидимые, втянулись в черноту ночи.

Они прошли в темноте, почти вслепую, километра три, из них два километра вдоль участка границы, когда на горизонте, над деревьями, занялось зарево, и сильно занялось, вверх взметнулись яркие языки пламени. Широков обеспокоенно огляделся и предостерегающе вздёрнул над головой руку:

– Наряд, стой!

Вытянув голову, замбой послушал ночь: что в ней? Неожиданно до наряда донёсся отчётливый, будто в воздухе разорвался гуттаперчевый пузырь, выстрел, следом другой.

В той стороне, где бушевало пламя, располагалась деревня, небольшая, в полтора десятка старых, с покрашенными цветной краской наличниками и ставнями (так повелось едва ли не с петровских времён – красить ставни и наличники) домов. Широков несколько раз бывал в деревне. Обитал в ней в основном пожилой люд... Теперь в этой деревне что-то происходило. Что именно?

– Наряд, за мной! – внезапно осипшим голосом скомандовал Широков.

Оставлять границу без указания сверху, конечно, было нельзя, а с другой стороны, оставлять без помощи деревню тоже было нельзя... В темноте Широков перемахнул через гряды густо разросшегося малинника, с треском смял несколько стеблей, на каблуках съехал в глубокий распадок, по пути ловко стянул с плеча карабин, загнал патрон в ствол – надо было быть готовым к стрельбе.

Вздыхнул тяжело, хрипло – в лёгких словно бы образовалась дырка, Широкову сделалось больно. Что-то слишком уж быстро он выдохся. Всё из-за плохой еды, из-за неё, проклятой, ребята также здорово выдохлись, сипят, будто внутри у них полопались какие-то трубы. Распадок этот был длинным, извилистым, километра полтора, не меньше, выходил почти к окраине деревни – карту здешнюю Широков изучил хорошо. Если кто-то решил напасть на деревню, а потом уйти за кордон, то уходить будет только по этому распадку. Если, конечно, у этих людей есть голова на плечах. Если нет, то могут пойти и поверху, но там идти гораздо труднее, чем внизу, много кустов, камней, много деревьев, есть вообще места непролазные.

– Логвиченко, ставь здесь пулемёт, – остановившись, замбой стукнул сапогом по дну распадка. – Тут самое то... Если полезут к границе, то полезут именно здесь. Бей, Логвиченко, вслепую, не бойся, что попадёшь в своих. Понял?

– А вдруг вас задену?

– Не бойся, мы возвращаться будем поверху, по краю, в распадок спускаться не станем.

Широков оставил с Логвиченко ещё одного бойца – окающего вологодского паренька с белёсыми ресницами и белёсыми бровками, совершенно неприметными на его лице, сам с двумя другими поспешил к деревне.

А выстрелы там раздавалась всё чаще, били в основном, как определил Широков, из маузеров, пламя вздымалось высоко – горело не менее двух изб.

– Сволочи! – выругался на бегу замбой, обернулся: не отстали ли ребята?

Ребята бежали в трёх метрах от него, дышали шумно.

– Подтянись! – привычно скомандовал Широков.

В деревне снова зачастили выстрелы – один, другой, третий: кто-то самозабвенно лупил из маузера, будто молотил в барабан. Широков на бегу выплюнул изо рта сбившуюся в комок слюну, прибавил ходу. Конечно, Костюрин не оставит эту стрельбу без внимания, также пошлёт в деревню людей, и на границу пошлёт, но Широков находился к деревне ближе, поэтому и придёт на помощь быстрее...

В темноте замбой не заметил яму, ступил в неё одной ногой и чуть не завалился набок, вовремя рванул к противоположному краю, закричал от натуги, в следующее мгновение вылетел из ямы. Ловко это у него получилось, показательно, жаль, что никто из подчинённых в темноте ничего не разглядел.

– Подналяжем, братцы, на свои двои! – призывно прохрипел замбой.

Он правильно определил – в деревне горело два дома, полыхали вовсю, уже стёкла в окошках от жара начали трескаться, стреляли по-пистолетному, посреди деревни на песчаной площадке, где к сухой лосине был привязан за проволоку ржавый лемех, а на отдельной проволоке болталась железка, похожая на черенок от молотка, с навинченной на головку большой гайкой – самодельное било, чтобы поднимать людей по тревоге, лежали два мёртвых старика в исподнем... Видно было, что их вытащили из постелей и расстреляли из маузеров.

Около дома, который ещё только занимался, крутились трое мужиков офицерского вида, вооружённые, пытались раскочегарить огонь, но сделать это было непросто, на первые два дома они нашли керосин – обнаружили целую бутылку, на этот дом керосина не хватило. Широков сразу понял, что это за мужики, вскинул карабин и присел на колено. Карабин при выстреле с силой толкнул его в плечо, замбой малость завалился назад корпусом, закричал, выпрямляясь – досадно было, но овчинка выделки стоила: один из налётчиков перестал суетиться, потрясённо вскинул руки над собой и, будто подсеченный сноп, стёк вниз, на землю.

– Один есть, – удовлетворённо отметил Широков, перезаряжая карабин и беря на мушку второго налётчика, недоумённо склонившегося над первым. Рядом с замбоем на колени повалились двое запыхавшихся пограничников – всё-таки отстали ребята, не выдержали темпа, – также с выразительным железным клацаньем передёрнули затворы своих карабинов.

Отвлёкся Широков на своих ребят, а не надо было – и глаз себе сбил, и мушка карабина съехала набок, и дыхание у него из глотки провалилось куда-то вниз, внутрь, образовалась пустота. Пуля Широкова прошла мимо склонившегося офицера.

Опасный свист её тот услышал, горячий воздух спалил ему кожу, офицер всё понял, дёрнулся было, чтобы отпрыгнуть за стенку дома, который он пытался подпалить, но не успел – голову ему снёс выстрел пограничника, присевшего на колено рядом с замбом, фамилию его Широков не помнил, знал только, что парень этот – металлист с Обуховского завода, в погранцы пришёл добровольно, выглядел он старше своих лет, руки у него были тёмными от ядовитой окалины, прочно въевшейся в кожу. Обуховский металлист довольно крикнул и дёрнул затвор на себя, выбивая из ствола дымную гильзу.

– Так его! – одобрительно прохрипел Широков, следующим выстрелом снял третьего налётчика, – тот, подбитый пулей, отлетел к горячей стенке и ткнулся головой прямо в пламя, волосы на его голове вспыхнули костром. – Вперёд! – поднялся с колена замбой и осёкся: третий пограничник лежал на земле и держался рукой за горло. Сквозь плотно сведённые пальцы текла кровь, и боец, боясь, что потеряет много крови, стискивал и стискивал пальцы, изо рта у него тоже вытекала страшноватая тоненькая струйка.

Ранение в шею, любое, – очень тяжёлое ранение, часто после него люди не выживают, слишком много важных артерий упрятано там, Широков даже застонал: самое последнее дело терять бойцов в мирную пору... Только мирная ли она, пора эта?

– Потерпи чуть, – крикнул он раненому, распластался на земле рядом с ним, стрелять с колена было опасно.

Вот такая штука – чужих выстрелов он теперь не слышал, слышал только свои, ещё слышал удачный выстрел соседа, и всё – больше, кажется, ничего не звучало. Но тем не менее выстрелы были. Как минимум один. Только вот откуда стреляли?

Из-за угла загорающегося дома вывернулись двое мужиков с ведрами, с маху хлобыстнули водой по пламени, сбили его. Огонь хотя и вгрызлся в дерево, в плоть, цепляясь упорно, а зацепиться не мог, пропитанное влагой дерево упорно сопротивлялось, шипело, фыркало, стреляло искрами. Этому дому вообще не суждено было заполыхать, как предыдущим двум, – мужики, полуголые, решительные, в портках, но без рубах, снова вознамерились нырнуть за водой, да не всё получалось так, как хотелось.

Один из них вскрикнул, подпрыгнул, теряя ведро, и по-птичьи подбито повалился на землю, ведро с грохотом скатилось в сторону, встало на донышко. Выстрел был тихий, словно бы прозвучал из ваты. Широков не засёк, откуда стреляли, лишь увидел за одним из домов высокую костистую фигуру с рукой, поднятой на уровень глаз, и, понимая, что это враг, вскинул карабин, выстрелил поспешно. Не попал, хотя пуля прошла рядом с целью – высокий пригнулся, скакнул в тень по-козлиному проворно, но не успел – ему так же не повезло, как мужику-тушильщику: Широков, стремительно дёрнув затвор, выбил из казённого гильзу и загнал в ствол новый патрон, в то же мгновение нажал на спусковой крючок.

И хотя высокий уже почти ушёл, он всё же не сумел уйти, пуля оказалась быстрее его, подсекла, сбила с ног, и человек, будто зверь, свернувшись в клубок, откатился в тень.

– Этого мы возьмём, – бросил Широков бойцу-обуховцу, державшемуся подле него с карабином наготове, – он наш. А ты перевяжи раненого.

– Так ведь... – замялся было боец, но Широков перебил его:

– Всё, стрельбы больше не будет. Банда, почитай, ушла уже. Теперь дело за Логвиченко. Замбой приподнялся на земле, хотел было сказать, что жаль, ребята с заставы не успели, но ничего не сказал, в следующее мгновение саданул в темноту из карабина, выругался: – Вот суки, своего хотят добить.

Как он умудрился рассмотреть в этой кутерьме человека, подбиравшегося к высокому, чтобы прикончить его, было непонятно. Боец, отползавший к раненому, с любопытством

задрал голову – любопытство оказалось сильнее опасности, – и только подивился зоркости и сноровке старшего.

Широков тем временем пальнул из карабина снова, коротким точным движением выщелкнул из магазина пустую обойму, на её место забил новую, полную. Выругался привычно:

– Вот суки!

Он вскочил, сделал короткую перебежку, опять припал к земле. Высокий, свернувшийся клубком, распрямился в несколько приёмов, толчками, вытянул перед собой руку, словно бы хотел на неё опереться, – в руке у него оказался пистолет. В следующий миг раздался выстрел.

Широков думал, что высокий будет стрелять в него, но тот выстрелил в сторону, в чело- века, которого замбой не видел, – высокий не давался, не хотел стать покойником, а спутники хотели во что бы то ни стало прикончить его.

Вскочив на ноги вновь, Широков совершил ещё одну перебежку – умело, спокойно, с пришедшим в норму дыханием. Как в затяжной атаке на вражеский окоп. Подбитый наруши- тель снова пальнул, – и этот выстрел был произведён не в Широкова, а в сторону – высокий спасал себя, отгонял человека, которому было приказано добить его.

Замбой поспешно вскинулся, оторвался от земли и совершил перебежку, важно было отбить раненых. В пляшущей тени, отбрасываемой стенкой дома, он увидел скрюченную, прижавшуюся к завалинке фигуру в плоском грузинском картузе. Выстрелил, целя в картуз. Выстрелил слишком поспешно – промахнулся.

Человек в грузинском картузе пальнул ответно. Также промахнулся.

Пока Широков передёргивал затвор, вытягивая застрявшую гильзу, налётчик поспешно прыгнул в темноту, широко разгреб её руками, будто воду, и растворился в глухой глубине. Широков отёр рукою лоб: теперь надо будет брать высокого. Тот явно не захочет этого, станет упираться ногами, рогами, локтями, коленями, руками и, зная, что его ждёт, сопротивляться до последнего.

Высокий, поняв, что свои добивать его уже не будут, прохрипел что-то торжествующе, сделал несколько слабых, неровных движений, разворачиваясь к Широкову.

Лицо у него было перекошено; от носа ко рту протянулись две жёсткие недобрые складки, над узким длинным ртом темнела квадратная нащёлка усов. «Как у товарища Ворошилова», – невольно отметил замбой, встречавшийся с Ворошиловым на фронте, поёжился от жара, налетевшего на него со спины: в одном из горящих домов рухнула крыша.

Хорошо знал Широков, что такое для крестьянина потерять дом. Это ведь хуже смерти – почти во всех случаях у погорельца следующим домом может оказаться могила, в груди у замбоа что-то скрипнуло, будто невидимая рука выкрутила, сжала ему сердце, выдавила из него, как из мокрого белья, последние капли... В это время высокий выстрелил.

Пуля просвистела над Широковым, он даже жара её не ощутил, так далеко она прошла, налётчик выстрелил во второй раз. Пистолет у него был особенный, заморский. Обычно у пистолетов выстрелы бывают громкие, вышибающие в висках звон, гулкие, будто кто-то дуби- ной колотит в бок железной бочки, а звук у этого был деликатный, не звук, а полужук.

– Бросай оружие! – прохрипел замбой высокому. – Всё равно не попадёшь!

Напрасно он сказал это – ни на фронте, ни в мирную пору, в боевых условиях, как эти, такие слова произносить нельзя. Они обладают вещей силой, потому и нельзя произносить, даже мысли, сомнения, намёки, и те могут обладать вещей силой. В ответ высокий выстрелил. На этот раз пуля прошла над самой головой замбоа, чуть не задев его. Широков ткнулся подбородком в землю и прохрипел упрямо:

– Сдавайся! – Ну будто бы других слов не знал.

У раненого налётчика репертуар тоже не изменился – он снова нажал на спусковой крю- чок пистолета и опять не попал. Широкову повезло – старое фронтовое правило о вещих сло-

вах и мыслях не сработало, не то ведь бывает, что в такие разы даже косоглазый стрелок может уложить из кривоствольного пистолета...

Перед глазами у раненого всё плыло, ночь расцветилась красными дымными огнями, от потери крови он ослаб. Понятно было – отбиться не удастся, песенка его спета. Раненый покривился лицом, выдавив из горла застрявший взрыд, и вручную оттянул затвор пистолета. Широков понял, что сейчас произойдёт, вскочил с отчаянным криком:

– Стой! – протестуяски вскинул над собой карабин. – Стой, говорю!

Он бы и в воздух дал предупредительный выстрел, если бы у него были лишние патроны, но патронов не было, они шли на жёсткий счёт, как и хлеб, поштучно.

Лежащий налётчик мученически скривил лицо, приподнялся на локте, сделал это из последних сил, и воткнул себе в рот ствол пистолета.

– Не надо! – что было мочи закричал Широков. – Сто-ой!

Но налётчик уже не только не видел бегущего к нему пограничника, но и не слышал его – красная трескучая пелена заслонила перед ним всё пространство, ни одного просвета не осталось... Надо было как можно скорее нажать на спусковой крючок пистолета. Лишь бы в последнее мгновение не отказали ему пальцы, лишь бы хватило сил...

– Сто-ой! – Широков нёсся к налётчику, почти не касаясь ногами земли, он летел, думая в эти краткие миги только об одном – как бы спасти этого человека, и совсем наплевать было замбою, кто он – белый, красный или зелёный, ведь жизнь дороже всех политических убеждений вместе взятых, второй жизни ведь ни у кого не будет, ни у правых, ни у неправых. – Сто-о-ой!

Налётчик пошевелил стволом пистолета во рту, засовывая его поглубже. Говорят, в последний миг своей жизни, перед тем, как уйти, человек обязательно думает о матери, реже – об отце, ещё реже – о доме, в котором вырос, и собственном детстве, но этот человек ни о чём таком не думал. Он просто вспомнил своего близкого друга штабс-капитана Родионова, который застрелился в Ростове, – видение перед ним возникло очень отчётливо, ярко, будто глаза раненого не были залиты болью, кровью, ещё чем-то, он увидел штабс-капитана и тот ободряюще подмигнул ему, – в девятнадцатом году Родионов налил в ствол пистолета воды и выстрелил себе в рот. Выстрел снёс ему половину головы. Родионова узнали потом только по погонам, да по массивному обручальному кольцу, отлитому из белого золота...

В следующее мгновение налётчик нажал на спусковой крючок пистолета. Выстрела на этот раз не было слышно совсем, он заглох, зябчатый зубами. Картуз, пробитый пулей, слетел с головы налётчика, следом на землю шлёпнулся мокрый ошметок – кусок черепа с пристрявшей к нему плотью – кожей, волосами, ещё чем-то, налётчик ткнулся лицом в землю, дёрнулся два раза и затих.

Широков подошёл к нему, опустил карабин стволом вниз, пробормотал горестно:

– Эх, мужик, мужик, что же ты наделал? Зачем же так? – покрутил головой, словно бы не хотел верить в происшедшее. – А ещё голубая кровь! Самое последнее это дело – стреляться, – покривившись, Широков снова удручённо покрутил головой, стряхивая с себя оторопь, потом махнул рукой: все слова сейчас бесполезны... Поздно произносить их.

За спиной у Широкова сустились мужики. Поняв, что стрельбы больше не будет, они теперь тушили один горящий дом и второй тлеющий, третий дом тушить было уже поздно, он сгорел.

Широков вытянул шею, на щеках у него проступили желваки. Он пытался понять, достигла банда пулемётной засады или нет, не слышно ли стрельбы? Нет, ничего не было слышно. Только шипела вода, трещали головешки, с хрустом ломались перегоревшие деревьяшки да матерились мужики. Надо было спешить на помощь к Логвиченко. А с другой стороны, в самую первую очередь нужно было эвакуировать раненого на заставу, и чем быстрее, тем лучше.

Он повесил карабин на плечо, остановил полуголого мужика в мокрых портках:

– Товарищ, срочно требуется лошадь – отвезти раненого на заставу. Лошади в деревне есть?

Тот вытер ладонью нос, откашлялся, пот забил глотку:

– Щас сделаем, – оценивающе прищурил один глаз. – Только до заставы, но не дальше. Лошадей далеко не отдаём, сам знаешь...

– Не дальше заставы, – пообещал Широков, – у нас своих лошадей полно. Где застава находится, знаешь?

– Бывал пару раз.

– Поспешу, прошу тебя, товарищ... Вместе с раненым бойцом. А я – к своим.

Логвиченко лежал вместе с напарником на небольшой песчаной куртине, совершенно голой, это ощущалось даже в ночи по дыханию плоского взлобка, под ствол пулемёта он подложил полуголую осклизлую деревяшку, с трудом найденную в темноте, и ждал.

– Стрельба в деревне затихла, – свистящим шёпотом сообщил напарник.

– Слышу.

– Значит, идут сюда.

– Уймись! – шикнул на паренька Логвиченко, развернулся к ложине боком, приложил к уху ладонь, некоторое время подержал, слушая пространство и шевеля губами, будто читал что-то, зацепиться было не за что, и он произнёс разочарованно: – Показалось!

Улёгся за пулемётом поудобнее, поправил деревяшку, подсунутую под ствол:

– Тихо!

Напарник чуть не подавился словом, готовым выскочить из него, выставил перед собой карабин и прошептал задвленно:

– А я что – я ничего.

Логвиченко огляделся – вроде бы почудилось ему, что он услышал щёлк ветки под неосторожной ногой, но щёлканье не повторилось, внутренний сцеп в Логвиченко ослаб, пограничник обвёл чуть... Через мгновение приподнялся – минуты перед всяким боем, даже малым, самые непростые, организм изводится, обескровливается, обезвоживается от ожидания, слабеет, этого не надо было бы допускать, но Логвиченко ничего не мог с собою поделать, – он боялся пропустить банду.

В том, что она пойдёт по ложине и наткнётся на его пулемёт, он был уверен, да и командир, замбой Широков, не мог ошибиться. Широков знает больше его, видит больше, в конце концов, он главнее Логвиченко... Но пуста была ночь.

Пожар в деревне пошёл на убыль, недобрая багровость потихоньку убиралась с тёмного плотного неба, её словно бы кто-то стёр влажной тряпкой, выстрелы тоже стихли – может, там, в деревне, всё и закончилось? И никто сюда уже не придёт? Может такое быть, а? Может, только Логвиченко в это не особо и верил. Он ждал. С поста его мог снять только командир.

Через несколько минут ночь заволновалась от прилетевшего откуда-то ветра, ветер вначале прошёлся понизу, по траве и песку, потом, разогнавшись, взмыл вверх, к кронам деревьев. Зашумели невидимые в темноте листья, испуганно заорала разбуженная ворона, но потом всё стихло, стихло очень быстро, и Логвиченко понял – это был сигнал ему.

– Идут, – стараясь быть спокойным, проговорил он, ощупал внезапно сделавшимися сырыми пальцами ствол пулемёта, словно бы от этого что-то зависело, повторил, уже не для самого себя, для напарника: – Идут!

В ложине, внизу, послышался чей-то голос, тут же смолк, словно бы придавленный каблуком, затем до пограничников донёсся топот ног, обутой в тяжёлую обувь, – впрочем, и топот через секунду исчез, но того, что Логвиченко услышал, было достаточно, чтобы понять: сюда действительно идут.

Эх, упал бы на землю какой-нибудь тощенький лучик с поднебесья, осветил бы пространство хотя б самую малую малость, всё легче бы было, но нет, небо было плотным, непроглядным, словно его забили досками – ничем светлым и не пахнет, но тем не менее Логвиченко показалось, что темнота всё-таки немного разредилась, отступила, и совсем недалеко от себя, будто в некоем коридоре, где тускло светит лампочка, он увидел несколько мужчин, одетых в простые рабочие пиджаки, в картузах и в сапогах, торопливо шагавших по скрипучему песку. Логвиченко зажал в себе дыхание и подцепил переднего из них на конец ствола – это был дородный битюг с брыльями, вылезавшими из-под шляпы, он единственный из всех был в шляпе, в руке битюг держал маузер с привинченной к нему на манер приклада деревянной кобурой, – в следующий миг Логвиченко дал по нему короткую прицельную очередь, потом, приподняв палец на гашетке, отвёл ствол чуть в сторону и вновь надавил на упругое железо.

Брыластый выронил из руки маузер, он повис у него на шее, на ремешке, прикрепленном к кобуре, вскинул вверх голову с чёрным ртом и в следующее мгновение унёсся в сторону, будто сметённый ветром. Логвиченко больше не видел его, да и не надо было ему видеть брыластого; он был уже занят другой целью – тощим, как доска, человеком, упрямо месившим ногами песок, всадил в него несколько пуль – словно гвозди заколотил, не снимая начавшего неметь пальца с гашетки, перевёл ствол дальше.

– Ложись! – запоздало выкрикнул кто-то из идущих, налётчики проворно попрыгали в разные стороны, и их не стало. Но они не исчезли. Из темноты хлопнуло сразу несколько выстрелов. Логвиченко засёк пять вспышек.

Значит, бандитов осталось пятеро. Двоих точно нет, Логвиченко готов был отдать голову на отсечение – они уже точно не поднимутся.

За первым залпом грохнул второй. Логвиченко, приникший к земле, – когда по нему стреляли, он вообще хотел зарыться в землю, защититься хоть как-то, – поправил на голове форменную фуражку с лаковым козырьком и красной звездой на околыше, вздохнул облегчённо. Ни одна пуля из двух залпов не задела ни его, ни напарника, хотя налётчики должны были точно засечь огонь, выплескивающийся из пулемёта – засечь они, возможно, и засекли, только, стреляя по засечке в ответ, мазали сильно. Но палили дружно.

В одном месте вспышка блеснула двойная: то ли налётчик стрелял с двух рук, то ли бандитов было двое, Логвиченко, всосав сквозь зубы воздух и ощутив внутри холод, стиснул челюсти, сдерживая дыхание, и полоснул по спаренным огонькам очередью, в то же мгновение чуть оттянулся назад и вбок – поменял позицию. Вскинул и тут же опустил голову: не возникнут ли спаренные вспышки вновь?

Не возникли.

Да и огонь из маузеров стал не таким плотным – видимо, у налётчиков было так же плохо с патронами, как и у пограничников. Логвиченко поймал ещё одну вспышку, окрасившую ствол маузера, – налётчик находился недалеко, укрылся за камнем, вросшим в песок, – послал туда очередь, затем, накрывая её для страховки, – ещё одну.

Горячая выдалась ночь.

Тем временем с заставы подоспела подмога, конная, привёл её сам Костюрин.

Хоть и не было больше особой пальбы – раздалось лишь несколько выстрелов, одиночных, в чёрное ночное молоко, – пули эти одинокие настигли свои цели: банда была уложена почти целиком; одного только удалось взять живым, хотя и изрядно помятого, с простреленной рукой, молоденького прапорщика – бывшего, естественно, – служившего в отдельной автомобильной роте помощником начальника дежурной части.

На кожаном роскошном картузе у него красовалась красная звезда.

– Фьють! – невольно присвистнул Костюрин, увидев звезду на фуражке. – Вот тебе, бабушка, и сдобный коржик в дырявом лукошке! Как твоя фамилия, милейший? – спросил он

у пленника прямо там, в ложине, на месте стычки. Чтобы можно было хоть что-то разглядеть, бойцы притащили несколько охапок сушняка и разложили костёр.

– Не ты, а вы, – морщась, ответил прапорщик с вызовом, сплюнул кровью.

О том, что он в прошлом был офицером, а сейчас служил в автомобильной роте, чьи машины возили, может быть, самого товарища Ленина, узнали позже, не сейчас.

– Если хочешь, чтобы я называл тебя поганым «вы» и относился, как к достойному врагу, звезду не носи! Не твоя она! Не будь перевёртышем! – Костюрин сорвал с него фуражку и ногтем скovyрнул звезду, сунул её в карман бушлата. Фуражку нахлобучил прапорщику на голову. – Широков! – обрадованно воскликнул он, увидев своего заместителя. – Организуй доставку трупов на заставу! А я в деревню, посмотрю, что там происходит.

– Там то же самое, что и здесь. Также есть трупы.

– Захвати и их. Даю в твоё распоряжение шесть человек.

– И ещё, Иван Петрович... У нас – один раненый.

– Не хватало нам этой беды, – Костюрин посмурнел. – Кого зацепило? Новобранца, небось?

– Нет, новобранца я здесь, с Логвиченко, оставил, другого...

– Считай, повезло ему. Час назад на заставу доктор из отряда прибыл, завтра будет делать медицинский осмотр: бойцов велено держать в здоровом теле... Раненого быстро к нему – аллюром три креста!

– Уже увезли.

– Хорошо. А этого, мухрика, – Костюрин покосился на бывшего прапорщика, сидевшего на земле, – дыхание из того вырывалось с трудом, пленный был слаб, – тоже к доктору. Пусть перевяжет гражданина. Не то мне за него в штабе голову отвернут.

По сосновым макушкам пробежался ветер, внезапный, стремительный, какой может рожать только ночь, но короткий, словно воробьиный полёт, в ночи же: погасший, ветер этот не поленился спуститься в ложину, скрутил в один жгут все запахи, собравшиеся в разных местах и бросил их, будто вонючую кость, в лица людей. Все запахи подмял под себя, растворил дух пороха, свежего пороха, уже использованного, сгоревшего, щиплющего ноздри, заставляющего слезиться глаза. А дух пороха – это дух войны, боли, гнойных ран...

Костюрин ловко вспрыгнул на коня, приподнялся на стременах, словно бы собирався разглядеть деревню, на которую налетела банда, совершавшая прощальный вояж по России, но деревня была далеко, да и из ложины надо было выбраться, и Костюрин хлестнул плёткой коня, зная, что вряд ли в этом логе можно разбить лоб о дерево, пустил Лося галопом – только копыта, взрыхлявшие сыпучий песок, застучали дробно...

А замбой занялся делом, которое очень не любил, – сбором трупов, выуживанием из пиджаков документов, описанием того, что произошло, – это важно было сделать по горячим следам, иначе потом всё забудется, да налаживанием волокуш – связанных вместе длинных гибких стеблей молодой ёлки; когда их связывают вместе, получают довольно плотные волокуши, на них можно увезти что угодно...

Глава пятая

Все трупы были обысканы. У убитых изъяли бумаги и вещи, находившиеся в карманах, и привезены на заставу, выложены в рядок на брезент под деревьями, утром их накроет тень, и это было важно, нельзя было, чтобы тела завоняли до приезда комиссии из Петрограда...

Документы разложили по кучкам – бумаги, пропуска (среди бумаг имелась даже записная книжка с адресами), носовые платки (на них тоже могла оказаться какая-нибудь важная цидуля), мятые кредитки, два блокнота... В одной из кучек оказалось и письмо Шведова.

На следующий день, часа в два, оно уже находилось в Петрограде, в чрезвычайке, на столе у самого Семёнова, весьма грозного товарища, который даже телеграммы Ленину подписывал коротко, увесисто и очень звучно, похоже на титул предводителя какого-нибудь тарабарского племени – «Предпетрогубчека». Семёнов положил письмо перед собой, разгладил его руками и задумчиво покачал головой:

– Мда-а-а...

Три фамилии, указанные в послании, были тут же занесены в кондуит – этих людей можно было арестовывать хоть сейчас, не откладывая дела в долгий ящик: двоих, указанных в тексте, как членов штаба контрреволюционной организации, одного, как подписавшего это письмо и также предложившего себя в состав штаба.

– Мда-а-а.

Но арестовать и сходу поставить к стенке, чтобы человек никогда больше не играл в запрещённые игры, – это очень легко, гораздо труднее, и важнее («архиважно», как говорил Ильич), разведать, кто ещё входит в контрреволюционную организацию, вывести все фамилии до последней и уж потом выкорчевать весь куст. Так, чтобы ни корешка, ни листочка, ни почечки худой не осталось. Такую работу Семёнов любил. И Ильич – тоже...

Семёнов поднял звонкий бронзовый колокольчик, стоявший у него на столе, встряхнул решительным движением. На звон в кабинет вошёл дежурный.

– Позови-ка мне начсо!

– Есть! – по-военному пристукнул каблуками сапог дежурный и пошёл искать начсо – начальника секретного отдела.

Тот вскоре явился – лохматый, невыспавшийся, со слезящимися красными глазами.

– Возьми-ка этих людей на карандаш, – Семёнов перебросил через стол бумагу, – проверь и доложи мне. Лично!

Начсо взял бумагу со стола, простуженно шмыгнул носом и, вяло шаркая ногами, двинулся к двери. Бумагу он начал читать на ходу, у самой двери остановился, осуждающе тряхнул лохматой головой и только потом исчез. Семёнов проводил его недобрым взглядом, усмехнулся. Несмотря на свою чудаковатую внешность, начсо был толковым работником, и Семёнов это знал.

Другое дело – Семёнов уже не верил в этом мире никому, он даже не стал бы верить своей родной матери, если бы та поднялась из могилы. Этому его научила революция. Впрочем, если бы его спросили, верит ли он товарищу Ленину, Семёнов тоже не ответил бы однозначно... И да и нет. На сухом жёстком лице Семёнова, совершенно неподвижном, неожиданно шевельнулись усы, словно бы он почувствовал что-то...

Через сутки начсо явился к Семёнову с докладом, пошмыгал носом и приподнял одну бровь, словно бы просил слова.

– Давай, – великодушно разрешил Семёнов, – валяй!

– Все три фамилии, приведённые в письме, – реальные, – сказал начсо, – все трое живы и здоровы.

Семёнов не удержался, хмыкнул:

– До поры до времени.

– Таганцев сейчас находится в Петрограде. Профессор университета, у студентов пользуется популярностью. В контрреволюционной деятельности был замечен и ранее. В связи с «Национальным центром». Герман. Фигура очень опасная, злобная. Сторонник террора. По нашим сведениям, находится за пределами России – предположительно, в Финляндии. Шведов. Ни в чём не уступает Герману, такой же отпетый тип, контрреволюционер до мозга костей.

– Где сейчас пребывает этот... отпетый?

– По одним данным, в Гельсингфорсе, по другим – в Петрограде. Если прикажете найти, найдём и арестуем.

– Арестовывать не надо, рано. Но узнать, в какой щели он спрятался, было бы неплохо.

– Задание понял, товарищ Семёнов, – начсо вновь простудно шмыгнул носом, выжал пальцами влагу из ноздрей и вытер пальцы о рукав.

Самым трудным делом для Семёнова было сочинение писем – эпистолярный жанр он на дух не переносил и брался за перо только в самых крайних случаях, когда не писать было нельзя. Но письма и телеграммы начальству председатель Петроградской чека всегда сочинял сам, лично – считал это дело очень важной частью своей работы.

Поморщившись мучительно, он положил перед собой лист бумаги, попробовал о ноготь стальное перо «рондо», вставленное в ручку, и вывел в правом верхнем углу: «Заместителю председателя ВЧК товарищу Уншлихту И.С.».

Над письмом он прокорпел часа полтора, хотя суть послания была проста и любой более-менее подготовленный шелкопер сочинил бы его за пять минут. Семёнов просил наградить именным революционным оружием двух пограничников, «организовавших и возглавивших разгром крупной контрреволюционной банды, а также добывших ценные, очень интересующие Петроградскую губчека сведения, – начальника пограничной заставы „Черничный лог“ Костюрина Ивана Петровича и его заместителя по боевой части Широкова Петра Петровича...».

Семёнов вытер ладонью вспотевший лоб, откинулся в тяжело заскрипевшем кресле назад: на одной заставе два Петровича сошлись... Уншлихт Семёнову в просьбе не откажет, – знакомы они давно, друг к другу относятся с симпатией, Семёнов всегда тщательно выполнял поручения заместителя Дзержинского Уншлихта и был твёрдо уверен в том, что Уншлихт обязательно выполнит просьбу Семенова...

Этих двух молодцов, Костюрина и Широкова, неплохо бы в будущем перетянуть на службу в чека – Семёнову такие люди нужны очень. Наградные наганы или маузеры – это зависит от того, какое оружие распишет Уншлихт, – подстегнут молодых людей: работа в чека интереснее, чем на границе. А главное, в погоне за нарушителями не надо будет так надрываться – в чека с этим дело обстоит проще... Семёнов потянулся, довольно похрустел костями.

Из открытой форточки пахло теплом – случайно залетевший южный ветерок, очень говорливый, неспешно прошёлся по прокуренному кабинету. Семёнов вскинулся, оторопело уставился невидящими глазами в пространство: в трудах праведных на благо революции не заметил, как ушла зима, подобрала свои подолы и уползла на север, уступив место весне, весна же, как-то уж очень быстро устроив на земле свои дела, приготовилась подвинуться, освободить лавку лету, которое в Питере мало чем отличается от весны, такое же мокротное, ветренное, по-настоящему жаркие летние дни выпадают редко. Но всё равно лето есть лето. Несколько полновесных строчек в календаре оно потребует обязательно, да потом лето Семёнов очень любил...

На следующий день депеша об именном оружии для пограничников ушла в Москву, а начсо явился к Семёнову с очередным докладом.

– Профессор Таганцев действительно возглавляет контрреволюционную организацию, – сообщил начсо, блестя большими чёрными глазами.

– Дурак этот профессор, – недовольно пробурчал Семёнов: он с самого утра был сильно не в духе, – нашёл, с кем бороться – с советской властью... Тьфу! Разотрём подошвой – даже мокрого места не останется, только пятно. Сколько человек входит в организацию, удалось выяснить?

– Пока нет.

– Так выясняйте, выясняйте же!

– Команды такой не было.

– А собственной сообраделки что... не хватает? – Семёнов покрутил пальцем у виска. – На нуль всё сошло?

– Нет, не сошло.

– Тогда действуйте. Очертите круг людей, входящих в организацию, выясните фамилии, попробуйте добыть программу, не сидите сиднем! Действуйте! – Семёнов раздражённо стукнул кулаком по столу, на котором около письменного прибора стояла цинковая пластинка с прикреплёнными к ней самодельными ножками – изображение Ильича, читавшего газету «Правда», – это был подарок от типографских рабочих, письменный прибор не шелохнулся, а пластинка с изображением вождя подпрыгнула ногами вверх и завалилась набок. Семёнов недовольно шевельнул усами, погасил злой огонь, зажжённый в глазах, сказал: – В общем, не теряйте революционной бдительности! – отвернулся в сторону. Показалось, что за окном, в сиреневых кустах, защёлкал, запел соловей.

Но соловью петь было рано, соловьи будут заливаться, устраивать роскошные концерты в мае, во второй половине месяца, а пока в сиреневых кустах могут только вороны каркать. Когда он это понял, начсо в кабинете уже не было, ушёл беззвучно, словно не по скрипучему паркету передвигался, а по воздуху.

Конечно, организация, которую возглавляет этот профессоришко, – тьфу, козлийный помёт, насаженный на деревянную палочку, максимум, что может совершить эта так называемая контрреволюционная организация – запалить костёр из старых газет и пары дырявых галош где-нибудь во дворе старого дома, и всё, но Петроградской губчека надо обязательно раскрыть какую-нибудь крупную белогвардейскую структуру, показать Москве, что тут тоже могут работать, тоже сидит народ, не лыком шитый, а для этого нужно громкое дело, такое, чтобы все ахнули и затряслись мелкой дрожью.

Годится для этого «Петроградская боевая организация» или нет – вот вопрос... На него Семёнов пока не мог ответить.

В организации, как теперь понял Семёнов, состоят одни интеллигенты да домохозяйки. Ещё, может быть, несколько служанок, – а это те же домохозяйки, мастерицы воровать на рынке семечки. Что же касается интеллигентов, то эти люди ни на что не были способны, и Семёнов откровенно презирал их. Говоруны, пустые пузыри, наполненные воздухом, трусы, смотрят друг дружке в глаза, целоваться лезут, обнимаются, а в руках держат по ножичку, чтобы всадить лезвие в своего брата по социальному сословию, либо вообще нанести смертельную рану. Предают, переворачиваются в разные стороны, как хотят, будто оладьи на сковородке, сегодня служат нашим, завтра вашим, послезавтра вообще ни тем, ни другим, принципы явок меняют, как бумагу для подтирания, подлаживают, подгоняют их под свои одежды – костюмы разного цвета и кроя – и болтают, болтают, болтают безумолку. И всё впустую.

Конечно, Ильич тоже интеллигент, но он – интеллигент другой закваски... Так что Семёнов хорошо представлял, что являет собой профессор Таганцев.

Совсем иной коленкор – военные. Герман и Шведов – боевые офицеры, прошли войну, знают, как уязвим человек и что надо сделать, чтобы он умер молча и быстро, даже не копанувшись. Эти люди – не чета гнилым плаксивым интеллигентам, они опасны, любому двуногому свернут голову набок и засунут под мышки.

Надо собрать побольше материала на военных членов организации и сообщить в Москву Уншлихту. А вдруг они собираются совершить покушение на товарища Ленина, а?

Эта мысль пробила Семёнова холодом, он нагнул голову, будто шёл против дождя и ветра, сжал пальцы правой руки в кулак.

– Этого мы не допустим никогда! Ни-ког-да, – членораздельно, с угрозой произнёс он.

В это время в дверь просунул голову дежурный помощник, увидел напряжённое лицо председателя и поспешно исчез – когда на лице у Семёнова появлялось такое выражение, с ним лучше не говорить.

Семёнов, с силой вдавливая пальцы в кожу, потёр лоб – не мог прийти к окончательному решению насчёт «Петроградской боевой организации», не знал, что с ней делать и куда её причислить – то ли это обычный кружок кухарок, любительниц посудачить, стоя над керосинкой, то ли серьёзная контрреволюционная организация. От решения этого будет зависеть, как обойтись с кухарками и их хозяевами – любителями яичницы, и к какому берегу их прибить, – искусственно, естественно, а уж берег сам решит, какой приговор им вынести.

Впрочем, во всех случаях жизни Уншлихт обязательно пришлёт группу следователей, а те быстро разберутся, виноваты ли кухарки с яйцеедами или нет.

Глава шестая

Костюрин нарвал в лесу ранних ландышей и ещё каких-то синевато-белых, с жёлтыми пятками в серединке цветов – похоже, это были подснежники, росли они в низинных местах, в которых можно было до сих пор найти снег, чёрный, как земля, завернул цветы в обрывок старой газеты и привёз в Петроград.

С трудом нашёл театр, о котором ему говорила Аня Завьялова. Располагался театр в бывшем винном складе одного купца со сложной грузинско-персидской фамилией, склад был большой, гулкий, и имел всего два длинных узких оконца, похожих на щели – прорези какой-нибудь древней крепости, железные ворота запирались на огромный кованый засов.

Охраняла ворота усатая тощая бабка, похожая на запорожского сечевика, стрельнула в Костюрина недобрым чёрным глазом – ну будто из винтовки пальнула:

– Чего нада? – Командирская форма Костюрина её не смутила, хотя почти всех людей, что общались с ним, делала более вежливыми. – Спектаклев у нас сегодня нету, так что извиняй, товарищ начальник.

– А я не на спектакль, бабуня, – бодро ответил Костюрин, вскинув в руке букет цветов, обёрнутый газетой.

– Если не на спектакль, то куда?

– Я к Ане Завьяловой.

– Это к той, что на сцене пыльные фанерки переставляет?

– Ну-у... наверное, – неуверенно ответил Костюрин.

– Анька здесь, – старуха задумчиво пощипала усы, – вроде бы никуда не уходила. Как она пришла, я видела, а вот как ушла – не видела, значитца – тут.

Старуха окинула его строгим орлиным взглядом, словно бы хотела понять, что у Костюрина находится под гимнастёркой, под ремнём и под диагональными брюками, заправленными в яловые сапоги, осмотр удовлетворил её, и старая карга разрешающе махнула скрюченным от многих простуд пальцем:

– Проходи!

Аню Завьялову он нашёл в подвале – этот огромный склад, основательно пропахший вином, имел роскошный подвал – зимой тёплый, летом холодный, поделённый деревянными переборками на несколько отсеков. В одном из отсеков, отведённом под костюмерную, Аня и находилась, штопала старое бархатное платье жемчужного цвета... Только поношенный бархат может иметь такой роскошный королевский цвет.

Дверь в отсек была открыта, и Костюрин, оперевшись плечом о косяк, несколько минут стоял молча, стоял и смотрел на Завьялову. Аня не засекала его шагов, не услышала, как Костюрин подошёл.

– Аня! – шёпотом позвал Костюрин, почувствовал, как у него громко, рождая звон в висках, застучало сердце.

Девушка повела одним плечом, будто ей что-то мешало, сковывало движения, но головы не подняла – просто не услышала Костюрина, так была увлечена работой.

– Аня! – прежним неразличимым шёпотом позвал Костюрин, расстегнул крючок на отложном воротнике гимнастёрки – сделалось трудно дышать, – одновременно он ощутил, что в нём родилась некая незнакомая робость, раньше такого с ним не случалось.

– Господи, – Аня подняла голову, отложила в сторону платье, сдула косую прядь волос, свалившуюся ей на нос, – простая штука вроде бы, а родила в душе Костюрина желание обязательно защитить эту хрупкую девушку. – Я уж и не думала, что вы сумеете найти наш театр...

– Как видите, нашёл.

– Чаю хотите? У меня есть немного настоящего чая, родители из Ельца прислали.

– Вы что, из Ельца?

– Ну да. Там родилась. И гимназию там окончила, – Аня встала, стряхнула нитки с подола. – Вы даже не представляете, как хорошо, что вы пришли.

Костюрин встревожился:

– Анечка, вас никто не обижает?

– Нет, что вы... – засмеялась та белозубо, открыто. – Тот, кто обидит – и дня не проживёт.

– У, какая вы грозная!

– Верно. Это я только с виду кроткая, лишнего слова сказать не могу, а на деле...

– А на деле, – подхватил её короткую исповедь Костюрин, протестуяще качнул головой – ощутил неожиданно, как в нём что-то сломалось, щёлкнуло и отсеклось, будто с дерева слетела прочная тяжёлая ветка, образовался душевный порез, но порез этот был сладким, вот ведь как, боли не принёс... Костюрин вздохнул облегчённо, он сейчас мог поддержать любой разговор – главное, чтобы разговор этот был, чтобы речь текла плавно и тогда будет совсем нестрашно.

– А на деле лишнее слово сказать очень даже могу. И одно и два.

– Я очень рад вас видеть, – сказал Костюрин.

Аня улыбалась несколько недоверчиво, склонила к плечу голову и произнесла тихо:

– И я. Вы немного неудачно пришли. Сегодня нет ни одного спектакля.

– Это ничего, Аня, ничего, – бодро произнёс Костюрин, – на спектакль я приду в следующий раз.

– У нас, например, идёт очень хороший спектакль по Блоку. Стихи у него потрясающие, – Анино лицо посветлело, будто осветилось внутри, – колдовские стихи! А ещё к нам обещал приехать Фёдор Иванович Шаляпин.

Костюрин не удержался, придавил пространство кулаком:

– Это здорово! Шаляпин – настоящий пролетарский певец.

– Я с ним знакома, – неожиданно похвасталась Аня. Было сокрыто в этом хвастовстве что-то детское, задиристое, что невольно обращало на себя внимание, в следующий миг Аня застенялась собой, потупилась.

Неземной голос певца выворачивал наизнанку любую душу, даже самую заскорузлую, ничего не чувствующую, народ на концерты Фёдора Ивановича ломился толпами, денег не жалел. Костюрин слышал, что перед революцией Шаляпин брал за один концерт по семьсот пятьдесят целковых золотом, а это были деньги бешеные, и люди эти деньги платили, не скупились.

На Шаляпина был в обиде другой певец, Собинов. Он за свои концерты столько брать не мог – не получалось, у него имелся свой потолок, выше которого он не мог прыгнуть. Как только он назначал цену за билеты чуть больше, люди переставали их покупать, а у Шаляпина потолка не было, ему платили столько, сколько он просил. Билеты на Шаляпина раскупались во всех случаях.

Костюрин взгляделся в Аню, словно видел её впервые в жизни, либо в лице её нашёл нечто такое, чего раньше не было, растянул губы в слабой неверящей улыбке:

– Где же вы с ним познакомились, в театре?

– Мой отец дважды шил Шаляпину сапоги.

– Где, в Ельце?

– Зачем? Здесь, в Петрограде. Папа, когда мама умерла, уехал из Ельца, не смог там жить без мамы-покойницы, переехал сюда и работал в мастерской по пошиву сапог купца Жилина... Слышали о таком?

Пожалел Костюрин, что никогда не слышал о таком купце. Аня всё прочитала в его взгляде и произнесла прощающе:

– Ничего страшного. Отец у него работал и отзывался очень хорошо. А когда носил Фёдору Ивановичу работу сдавать, сапоги то есть, меня с собой брал. Фёдор Иванович обяза-

тельно угощал его стопкой коньяка, а меня – пряником, – Аня неожиданно виновато развела руки в стороны, потом улыбнулась чисто и светло, – что было, то было...

– Аня, у меня есть немного свободного времени, – проговорил Костюрин, смущаясь, – пойдёмте, погуляем немного по городу, а?

Аня протестующе подняла одно плечо, узкое, угловатое, потом посмотрела на часы – простые ходики с глазастой кошечкой, шмыгающей зенками туда-сюда, вздохнула.

– Что, не получается? – с огорчением спросил Костюрин.

– Да есть у меня кое-какие дела, – озабоченно проговорила Аня, вновь глянула на часы, – пообещала.

– А перенести дела нельзя? – с надеждой спросил Костюрин. – А, Ань? Что за дела-то хоть?

– А-а, обычные! – Аня вздохнула ещё раз и решительно взмахнула рукой. – Пообещала кое-куда наведаться. Ладно, объяснюсь, в конце концов. Там всё-таки люди, поймут, – она снова стряхнула с подола прилипшие нитки – пару тонких незаметных волосков. – Пойдёмте, Иван Петрович!

Вона, Аня с одного раза запомнила его имя-отчество, не выпало это у неё из памяти. У Костюрина в груди шевельнулось обрадованное тепло, расплзлось по телу, но он вида не подал, что обрадовался, – этого делать было нельзя.

– Прямо сейчас?

– Конечно. Прямо сейчас. У меня в театре дел особых нету... к завтрашнему спектаклю всё готово. И к послезавтрашнему. Пойдёмте!

На улице было тепло, с Балтики приносился слабый ветер, он тоже, вопреки обыкновению, не был холодным, хотя ветер, поднятый с воды, обязательно должен быть холодным, воздух был наполнен медовым запахом: где-то недалеко начали зацветать каштаны. Костюрин любил цветущие каштаны, каштан вообще одно из самых благородных деревьев на свете, так он считал, поэтому чуть не споткнулся, словно бы под сапог ему попал неудобный камень, когда Аня произнесла:

– Люблю, когда цветут каштаны.

На улице, в двадцати метрах от театра, было шумно, весело, тут кипела жизнь, словно бы вопреки чинности и тиши, царившим в театральных помещениях. Среди бабок, скаля зубы, шныряли малолетки в драных кепках и дырявых башмаках на босую ногу, неспешно перемещались с места на место матросы в потёртой чёрной форме, приглядывались к торговкам и их товару, – съестного почти не было, в большинстве своём это были поношенные вещи, остатки прежней роскоши. Костюрин с Аней постарались побыстрее пройти оживлённое место, и это им удалось.

– Питер превратился в сплошной базар, – заметил Костюрин, – говорят, раньше таким не был.

Аня промолчала, не хотела ругать город, ставший ей родным, потом просительно глянула на спутника:

– Пойдёмте на Неву.

Костюрин аккуратно подхватил её под локоть:

– Я тоже хотел это предложить.

Нева – широкая, серая, в неровной ряби течения, с которого часто поднимались, а потом тяжело шлёпались в воду чайки, была густо запружена судами разных калибров и назначений, среди них выделялись строгими контурами два военных корабля – даже они умудрились найти себе тут место. Одни стояли неподвижно, плотно впаявшись железными коробками в реку, словно бы ошеломлённые небывалым движением на реке, другие трудились в поте лица, пыхтели, сопели, сипели, свистели, кашляли, подавали ржавые голоса и гудки, у одного из работяг,

донельзя чумазого, будто бы облитого мазутом катерка, был голос, как у большого парохода, – густой, сочный, протяжный.

Костюрин вспомнил, что двадцать минут назад они с Аней вели разговор о Шляпине, и назвал про себя голос чумазого катерка «шляпинским». Хотя внешность катерка не соответствовала ни названию высокому, ни сути, но голос был хорош.

Осторожно, держась береговой кромки, самого уреза гранитных глыб Дворцовой набережной, отвесно спускавшихся в рябую воду, по реке прошлёпал плицами старый колесный пароход, такой ржавый, что ржавь слетала с него на ходу густой рыжей пылью... И как только сумели люди запустить машину на этом дырявом, вконец сносившемся корыте, неведомо. Костюрин, глядя на убогий пароход, только брови вскинул удивлённым домиком и ничего не сказал...

Густо чадя трубами, пропыхтели два буксира, таща за собой плоские, широкие, как поле для массовых гуляний, баржи, гружённые песком. Баржи родили в начальнике заставы горделивое удовлетворение: раз поволокли песок – значит, где-то будут строить дом, а может быть, три дома или целую улицу, либо деревню, а может быть, и целый райцентр. Раз начали строить, значит, всё, держава нацелилась вперёд, начала выкарабкиваться из ямы, вылезает потихоньку, а раз это так, то и в будущее можно заглянуть без всякой опаски, – не то ведь ещё вчера в нём можно было увидеть чёрную дыру, пропасть и осознание грядущих бед, что рождало у слабых людей оторопь в душе, тоску смертную, у сильных же – злость...

А вон бодро режет округлым носом волны деревянный самоход кустарного производства, везёт в бывшую столицу бородатых дедов-мешочников с деревенским товаром, обратно же мешочники повезут фамильные драгоценности едва ли не в таком объёме, в каком привезли в Петроград еду, это точно.

Голодно живёт питерский люд, выскребает из сусеков последнее, а у многих и сусеков-то уже нет, не говоря о том, чтобы в них что-то хранить.

На Дальнем Востоке народ, например, живёт сытнее, там есть тайга, особенно такая богатая, как уссурийская, да реки могут от голода спасти столько людей, что и сосчитать не сосчитаешь – сотни тысяч, если не миллион или десять миллионов.

В арифметике Костюрин был слаб, не мог себе представить даже в мозгу, что такое миллион и тем более – десять миллионов.

Широка была Нева – наверное, такая же широкая, как Волга под Царицыном, – такая же опасная, с глубиной, в которой ничего не видно, прячущей покойников. Мало таких рек в России, может быть, ещё Амур на Дальнем Востоке, да Обь с Енисеем в Сибири, и всё, больше нету.

Аня молчала, была зачарована внезапно открывшейся ширью Невы, лицо у неё светилось, в глазах подрагивали крохотные изумлённые свечечки, Костюрин тоже молчал... Поглядывал искоса на Аню, переводил взгляд на Неву, отмечал разные детали, разные мелочи, на которые раньше даже не поворачивал головы – они проплывали мимо и исчезали навсегда: всё-таки здесь, в городе, жизнь не то, что на заставе, среди сосен, мокрых чёрных логов, в которых до лета, бывает, лежит ноздреватый снег, да озёр, где плещется рыба. Если бы не было озёр и огорода, в котором урождалась картошка больших размеров, на заставе жилось бы голодно. Командирские пайки Костюрина и Широкова не спасли бы людей. А так ничего – бойцы сыты, обуты, одеты, напоены, ночуют в тепле...

Жизнь в городе – иная жизнь, пиковых моментов «или-или» бывает мало, в городе обитают люди совсем иного колена – и попроворнее они, посуетливее, бегают, как тараканы, и погорластее, и похитрее, и поподлее – за лишнюю полушку могут даже собственную маму заложить, либо загрызть досмерти (если закажут, да заплатят, а так, без заказа, чего впустую силы тратить?), совсем другое дело – народ на заставе...

Внизу, под набережной, угнездившись одной ногой на каменном выступе, стоял пацан в огромной рваной кепке, которая вертелась на его голове, как таз на колу, и на кривую удочку, вырезанную из черемухового стебля, ловил рыбу.

Леска была грубая, толстая, из суровой крученой нитки, крючок согнут из заострённой проволоки и закален на огне, поплавок выструган из сухой деревяшки, перетянутой цветной запачканной ниткой... Зато насадка была хороша – сизые жирные черви. Хотя на сковородку их – без масла зажарятся.

Пока Аня с Костюриным стояли наверху, на каменной площадке, ограждённой толстыми, грубо отёсанными и оттого казавшимися пористыми глыбами гранита, пацан в огромной кепке успел выхватить из тёмной холодной воды трёх рыбёшек с ладонь величиной. Засовывал рыбак добычу в холщовый мешок, висевший у него на шее на длинной нищенской лямке.

– Ловко ты... – восхищённо проговорил Костюрин. – Молодец!

– Рыбу только надо в чистой воде вымачивать, – не поднимая головы, произнёс добытчик, – иначе сильно пароходами пахнет.

– Чем-чем? – удивлённо переспросил Костюрин.

– Углём и мазутом, вот чем.

– Но есть-то рыбу можно?

– С голодухи всё есть можно, товарищ командир. Даже навоз с землёй.

– Тьфу! – отплюнулся Костюрин брезгливо. – Это мы даже на фронте не ели.

– На фронте не ели, а тут едят, – бранчливо, со взрослыми мужицкими нотками в голосе проговорил рыбак.

– Ань, пошли Зимний дворец посмотрим, – предложил Костюрин. Не хотелось дорогое время тратить на разговоры с сопливым пацаном. – Там, мне сказывали, следы от пуль, оставшихся от штурма, до сих пор сохранились.

Но никаких следов пуль на стенках Зимнего они не увидели – выбоины были тщательно замазаны, затёрты, единственное что не покрасили их, не успели, либо у нынешнего дворцового начальства денег на краску не было.

– Потрясающее здание, – тихо произнесла Аня, – я когда вижу его, просто обмираю от восторга.

– Часто здесь бываете?

– Не очень, – призналась Аня, – хотелось бы чаще, да не получается.

Она умолкла. И он умолк – не знал, о чём говорить, да и, если честно, им вообще не нужны были слова, самые лучшие речи – это молчание, когда двое находятся рядом, всё бывает понятно без всяких слов. Костюрину важно было видеть Аню, Ане же... Ей тоже это было важно. Да потом Костюрин никогда не был говоруном, он слеплен из другого материала. А из молчания можно узнать очень много – может быть, даже больше, чем из самых умных и красочных речей.

Потом они шли вдоль Невы долго-долго, останавливались, любовались игрой облаков в рябоватой тёмной воде, ёжились от ветра, прилетавшего из устья Невы, и Костюрин, который должен был бы прикрыть Аню от холода рукой, боялся это сделать – стеснялся, мышцы у него сковывало железными сцепами, пальцы противно подрагивали...

И всё-таки это были прекрасные минуты, проведённые вместе, они слишком много значили для Костюрина. И пусть не звучали разные красивые слова, пока они шли, хотя красивые слова положены в таких случаях обязательно, пусть время было наполнено молчанием, – незначительные фразы совершенно ничего не определяли, не добавляли никакой информации к тому, что давало молчание: Костюрин очень много узнал об Ане. А она – о нём.

Из-за Костюрина Аня на полтора часа опоздала на свидание к своей приятельнице Маше Комаровой.

Маша – строгая, затянутая в корсет, одетая в лиловое платье, лишённое всяких украшений, – глянув на Аню, огорчённо покачала головой:

– Ах, Аня, Аня... Подвела ты меня.

– Извини, Маш, всё сложилось так, что я не могла приехать раньше.

– У нас на собрании был Таганцев Владимир Николаевич, профессор... Только что уехал. Он – наш руководитель, я хотела вас познакомить. Ты проходи, проходи, Ань, на кухню, в прихожей холодно, простудиться можно.

Аня прошла на кухню. Там, за длинным семейным столом, накрытом вязаной скатертью, сидели несколько женщин и пили чай, судя по светлому красноватому цвету – морковный. Морковный по нынешним временам – это неплохо, гораздо хуже – чай из сушёной травы с добавлением сморщенных шиповниковых ягод или заварка из жареной липовой щепы... Аня чинно поздоровалась, ей также чинно ответили, потеснились, освобождая один из стульев.

Аня села на стул, огляделась. Она, конечно, бывала здесь и раньше, но тогда обстановка была не та, что сейчас, тогда кухня была совершенно по-иному обставлена, была более заполнена, что ли, на двух стенках, кажется, висели картины, которых сейчас нет. Значит, картины были проданы либо обменяны на этот вот жиденький морковный напиток.

– Чай будешь? – глухо, словно бы из далёкого далека, прозвучал Машин голос.

– Буду, – наклонила голову Аня, не отводя глаз от пустых стенок и пытаясь вспомнить, что же на тех картинах было изображено. Много раз видела их, но взгляд был скольльзящим, неглубоким, в памяти ничего не осело. Кажется, это были натюрморты – один старый, тёмный, классической школы с медным подсвечником, в который была вставлена тонкая, слепленная из золотистого воска свеча, и яблоками, вольно рассыпанными по гладкому лакированному столу, другой был написан в модной современной манере с элементами «импрессиона», очень светлый, радостный, невольно бросающийся в глаза...

Или Аня видела эти картины в другом месте? Маша поставила перед ней стакан в ажурном серебрянном подстаканнике, помешала изящной ложечкой жидкую бурду, пахнущую чем-то жжёным, будто стакан этот вытащили из сгоревшей избы, виновато извинилась:

– Хорошего чаю достать не удалось, прости...

– Чай очень вкусный, – ещё не пробуя напитка, сказала Аня, – я такой люблю.

Маша всё поняла, качнула головой – движение было невесомым, почти незаметным, и она, возвращаясь на круги своя, проговорила деловым тоном:

– Жаль, тебя не было на встрече с профессором Таганцевым. Очень умный человек. Я думаю, если бы он начал руководить страной, было бы много лучше. Если его нельзя, допустим, поставить на место Ленина, то на место Троцкого – запросто.

– А почему нельзя на место Ленина? – спросила одна из дам, сидевшая в кресле, принесённом из комнаты. Она одна сидела в кресле, больше никто.

– Владимир Николаевич по образованию биолог, а страной должен руководить юрист – ю-юри-ист. Так заведено в Англии, во Франции, в Бельгии... Юрист – это человек с общим образованием – о-об-щим. Это значит, что он знаком со всеми сторонами жизни страны и может управлять ею.

– А разве Ленин – юрист?

– Юрист. Владимир Николаевич рассказывал, что Ленин сдавал экзамены в университете его отцу, академику Таганцеву. Академик Таганцев отзывался о студенте хорошо, говорил – способный был.

Это Аня уже слышала. Слышала дважды. Если услышит ещё раз – в голове произойдёт смещение, «шарики за ролики закатятся», как говорили мальчишки в их смешанной елецкой гимназии.

Она отпила из стакана глоток чая – сладковатого, имевшего жжёный вкус. Как всё-таки здорово отличается этот придуманный чай от настоящего, покупного, которым ещё несколько

лет назад были заставлены едва ли не все торговые витрины Невского проспекта – чай, упакованный в нарядные, железные, деревянные, лаковые, серебряные коробки, радовал всякий глаз, даже очень строгий... Сейчас витрины стоят голые, некоторые, с треснувшими стёклами, заклеены полосками бумаги, сиротский вид их нагоняет в душу холод. Гражданская война опустошила страну, и в этом Ленин, конечно, виноват. Вместо того чтобы сесть за один стол с семьёй царя, с Корниловым, Деникиным, Колчаком и договориться обо всём, он пустил живую страну под нож. Вот и полилась кровь. Много крови – реки.

Когда кухня опустела – борцы с советской властью в юбках ушли, – Маша под села к Ане.

– Ты, подружка, пожалуйста, больше не подводи меня, являйся на заседания вовремя, ладно?

– Ладно, – Аня поёжилась. В Машиной квартире было сыро, а сырость, даже если в ней нет холода, обязательно пробивает человека до костей.

– Я тебе сейчас шаль дам, – сказала Маша, – быстро согреешься.

Внешне Маша была похожа на Аню – одинаковые тонкие лица, большие глаза (только цвет глаз разный: у Маши – синий, глубокий, искрящийся, у Ани – карий), стройные фигуры. И рост одинаковый.

А вот работа у них была разная – ничего схожего. Маша Комарова была так же далека от театра, как Питер от Одессы, – работала каким-то засекреченным делопроизводителем в одном солидном советском учреждении, умела хранить тайны и хорошо печатать на громоздком, громко трещащем «ундервуде», похожем на настоящий заводской станок.

«Ундервуд» имелся у неё не только на работе, но и дома, когда она садилась за него, то от ударов свинцовых букв по жёсткой каретке тряслись стены у всей квартиры, поэтому вечерами Маша старалась не печатать – соседи могли рассердиться, тем более в доме появились новые жильцы – сердитые работяги с одной из мануфактур, революционные лозунги они освоили в совершенстве и чуть что, хватались за ломы. Орали так, что сбивали друг друга с ног одним только криком.

– Долой тяжкое наследие царского прошлого!

Маша Комарова этих людей боялась. Печатать тише, так, чтобы стены хотя бы не тряслись, она не могла, не получалось.

Вообще-то она была женщиной робкой, скромной. Аня удивлялась, как же она нашла в себе сил и храбрости вступить в «Петроградскую боевую организацию», задавала себе такой вопрос и ответа не находила.

Аня обратила внимание, что уходили члены женской группы из квартиры поодиночке, жались к стенке и, чтобы не привлекать к себе внимания, старались ступать беззвучно. Подав Ане шаль, Маша вновь уселась на скрипучий старый стул и положила на скатерть тяжело гудящие, натруженные, покрытые вздувшимися жилами руки:

– Устала, Ань... Ты даже не представляешь, как устала.

Аня вздохнула.

– Как раз я-то хорошо представляю. И понимаю тебя. Очень даже хорошо понимаю.

Маша склонила к подруге голову в некоем доверительном движении, также трудно и сыро вздохнула, словно в горле у неё скопились слёзы.

– Куда катимся – неведомо, – проговорила она тихо.

– Хочется, Маш, чтобы жизнь наша сделалась полегче... Вот туда и надо катиться.

Замолчали. Было слышно, как в окно скребётся отсохшая ветка дерева, будто леший когтем что-то чертит, потом к этому звуку прибавился другой – послышался надтреснутый, с хриплым выхлопом рокоток автомобильного мотора. Машина шла медленно, останавливалась около домов, видно, шофёр читал номера домов на эмалированных табличках, прикреплённых к стенкам, искал нужный адрес.

Маша поднялась, подошла к окну, выглянула из-за занавески.

– Опять чекисты. И чего им тут надо? С кем-то борются, кого-то убивают, кого-то забирают... Иных просто вызывают к себе и – с концами, Ань, с концами... Когда всё это кончится, не знаешь?

Аня вместо ответа покачала головой: этого не знает никто. Может быть, только Всевышний?

Наконец, машина с прохудившимся двигателем перестала трещать – завернула за угол, назойливое, вызывающее зубной чёс пуканье, прежде чем угаснуть окончательно, ещё пару раз возникло в воздухе, всколыхнуло пространство и пропало.

Маша вздохнула надсаженно, прижала руку к груди и вновь села на скрипучий стул. Покачала неодобрительно головой. Аня подумала, что ведь и чекисты выполняют свою работу – ту, которую от них требуют: защищают свою власть, свою веру, свои завоевания... И было наивно полагать, что они будут вести себя по-другому.

Зла к ним Аня Завьялова не испытывала совершенно.

Глава седьмая

Опытный Шведов был калачом тёрым – продублировал письмо, которое послал в Финляндию с Введенским, и второе письмо попало в нужные руки – его прочитал человек, занимающийся организацией террористических актов в Советской России. Все знали его как Соколова, но вполне возможно, это был совсем не Соколов – окружающие подозревали, что он мог быть и Струве, и Репьевым, и Камергерским, и Бугаёвым, и Скотининым. Соколов всегда был невозмутим, чисто выбрит, пахнул хорошим парфюмом, который в бывшее Великое княжество Финляндское доставляли из Франции, глаза излучали холодный льдистый свет, неуютно становилось тому, кто попадал в лучи этого света.

Соколов прочитал послание дважды, потом положил его перед собою, разгладил ладонями, словно бы хотел понять, есть ли у этой бумаги второе дно, скрытый смысл, прячущийся под шифром, либо что-нибудь ещё, из потайного дна, спрятанное тщательно, ничего не нашёл и прочитал письмо вновь.

Строгое окостеневшее лицо озарила улыбка. Это хорошо, что в Петрограде появилась антисоветская организация. Да тем более боевая.

Соколов одобрил всё, что Шведов изложил в письме, в том числе и создание штаба, в который вошли бы не только различные замухрышки профессора, любители пощупать пальцами воздух, а потом выразительно чихнуть – это максимум того, на что они были способны, а и люди военные, офицеры, которые и атаку на противника умеют провести так, что у того только зубы от страха будут щёлкать, а в заднице польхат скипидар, и оборону организовать толковую – ни одна муха незамеченной не пролетит... А главное, они не будут глотать слюни и ждать у моря погоды – эти люди будут действовать. Они умеют это делать.

Нет, это определённо толковая затея – «Петроградская боевая...» Надо подумать только, кого послать в помощь Шведову. Для начала – группу «эксов», умеющих нажимать на курок пистолета, потом вторую такую же группу и параллельно – группу мозговой поддержки, умных людей, словом.

Соколов не удержался, вновь просиял широкой улыбкой. Этот Таганцев вкладывает им в руки ценный подарок, кусок дорогого жёлтого металла – организацию эту, Петроградскую, можно раскрутить так, что у большевиков только красная выюшка из их багровых носов ползёт, начнёт в воздухе плавать... Не любил Соколов большевиков, очень не любил, потому и старался находить для них слова самые унижающие, чем хуже – тем лучше.

Поразмышляв ещё немного, он подготовил короткое сообщение в Париж, в главную контору структуры, объединившей белое воинское братство.

Шведову тоже сочинил ответную депешу со строгим наказом: пусть бывший подполковник сидит пока в Петрограде, помогает Таганцеву слепить из кучи разваренной каши нечто цельное, съедобное, способное понравиться начальству из Парижа. Соколов верил в талант Шведова: тот сумеет сделать не только это – сил у него хватит на большее.

И надо, конечно, в Петроград отправлять Германа, и чем раньше, тем лучше, вдвоём они там и гору высокую свернут, и русло для новой реки проложат, и власть красную заставят поволноваться. В общем, предстоит работа – настоящая, трудная, опасная, – работа, а не перекачивание воздуха из одного дырявого ведёрка в другое, из пустого в порожнее.

Надо было ещё раз обдумать ситуацию, теперь уже окончательно. Соколов натянул на себя белый стильный пыльник с застёжками под самое горло и вышел на улицу.

Улицы в Финляндии, в отличие от российских, чисты невероятно, ну просто удивительно, какие они чистые, – бродяги летом спят прямо на тротуарах и не требуют простыней, черепичные крыши цвета яркой сепии делают города нарядными, а сочные зелёные берёзы – совсем, как в России, – подчёркивают эту нарядность.

Соколов шёл неспешно, тихо, совершенно не замечая этой красоты, чистоты этой, погружённый в себя, — он будто сладкую косточку обсасывал, размышляя о предстоящей деятельности «Петроградской боевой организации», улыбка сама по себе, произвольно возникала на его лице и так же произвольно исчезала.

Неожиданно Соколов остановился перед низкой деревянной дверью, над которой висел кованый фонарь, — это был финский шинок и, поколебавшись немного, толкнул рукою дверь, разом погружаясь в полутёмный, очень уютный, пахнувший свечами зал. Из-за стойки выпорхнула девушка с большими голубыми глазами — настоящая фея.

— Тузи таг, фрекен! — поприветствовал её Соколов.

Девушка удивлённо глянула на посетителя: приветствие прозвучало по-норвежски, а здесь — Финляндия, по-норвежски здесь не говорят, хотя и понимают, спросила по-русски, очень чисто:

— Чего господину надо?

— Водки. Сто граммов.

— Водки из России у нас нет. Есть фруктовая водка из Германии. Шнапс вишнёвый...

— Давайте водку из Германии, раз русской нету. Сто граммов.

Девушка подала ему водку в изящном стаканчике с серебряным ободком. Соколов глянул на него и невольно усмехнулся: в России водку из такой посуды не пьют, крепкий напиток требует тару более грубую.

— Закусить чем-нибудь господин желает? — спросила девушка. Слишком хорошо она говорила по-русски, эта милая финская фея с изящными чертами лица — ну будто из фарфора была изваяна. Наверняка знает, о чём говорят соотечественники, когда приходят в шинок, все эти горластые матросы с уплывших из России кораблей и господа «штрюцкие», как Куприн называл людей сугубо штатских, к военному делу имеющих отношение примерно такое же, как неграмотные цыгане из кочующего табора к высшей математике и астрономии, — интересно знать, о чём толкуют и те и другие... Надо будет этот моментик взять на заметку.

Лицо у Соколова сделалось задумчивым, хотя глаза не потеряли своего настороженного блеска.

— Закусывать господин будет? — повторила вопрос девушка.

Соколов медленно покачал головой и вышел на улицу.

У военных моряков Соколов бывал часто, присматривался к ним, прикидывал, кого на дело можно взять, а с кем, извините, можно только антрекот на камбузе скушать, да и то с оглядкой...

Он снова отправился в форт Инно, где стояли тяжёлые корабли, в основном крейсера, — надо было забрасывать в Петроград боевые группы. Для начала две, как и замыслил Соколов, потом — ещё две.

И действовать так до самого финиша, пока новая российская власть не прикажет долго жить. На это Соколов рассчитывал очень и очень. И предпосылкой для этого было немало — один только Кронштадт долгое время был для Ленина и «дорогих товарищей», заместителей Владимира Ильича в Петрограде, гигантской головной болью, чуть не задушившей власть рабочих и крестьян, и если бы не пулемёты Тухачевского, боль эта загнала бы ленинцев в гроб. Но Бог оказался милостив к советской власти, большевики подмяли Кронштадт, сумели это сделать. Повезло им.

Первая группа была собрана довольно быстро и ушла через окно в границе на ту сторону, в Россию, со второй группой Соколову пришлось повозиться подольше.

Русские моряки, находившиеся в самом Гельсингфорсе и под Гельсингфорсом, никак не могли привыкнуть к Финляндии. И юмор финский им был непонятен, и язык, и нарочитая медлительность мужчин — при завидной шустрости женщин, — и чистота на улицах, какой никогда не было в России, и-и... в общем, много чего было непонятно, и боцман с крейсера

«Гневный» (назван крейсер, говорят, был в честь вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, которую и во дворцовых апартаментах, и в народе величали Гневной), севастопольский уроженец Тамаев, недовольно морщился, посылал точные плевки себе под ноги – попадал аккуратно в пространство между ботинками, ни разу не промахнулся, – и ругался по-польски:

– Пся крэв!

В нём было намешано много кровей, в том числе и польская, ещё малоросская, кавказская, он не знал точно, чья, то ли осетинская, то ли чеченская, кавказцы затесались в их незначительный род давно, сделали это по-разбойному, – видимо, их кровь наделила Тамаева некими качествами, которыми умные люди не очень-то любят гордиться.

Флот, стоявший в Гельсингфорсе, хорошо знал Тамаева – на всех кораблях, даже на маломерных, чумах танкерах, даже там была известна эта фамилия. Всё дело в том, что Тамаев выращивал так называемых крысаков, специализировался на этом. Крысы – бич всякого плавающего судна вплоть до обычного помывочного корыта, в котором матросы оттирают свои почерневшие от угольной пыли гениталии, – главное, чтобы это корыто имело разрешение на выход в море.

Если оно имеет такое разрешение, в него обязательно заберутся крысы, спрячутся под какой-нибудь заклёпкой и будут терпеливо ждать, когда корыто запустит свой движок и выйдет в море.

Откуда у крыс тяга к дальним странствиям, к кораблям, воде, шлёпанью морских волн под железным днищем судна – лучшего звука для них нету, лучше может быть только пение волшебной дудочки какого-нибудь факира, – к запаху соли, скрежету тросов, к лютым штормам и крепкому матроскому мату, не знает никто. Эта тайна, как и тайна излечения, допустим, рака, до сих пор не раскрыта.

Воевать с крысами, если попали на плавающую посудину, бесполезно – ни присыпки, ни примочки, ни пушечные удары кувалдой о корпус, от которых даже у корабельных котлов отваливаются почки, ни отравы, ни колдовские наговоры, ни ведьминские причитания на крыс не действуют. Любую ведьму, если та окажется на корабле, они запросто стрескают, запьют пивом из офицерской кладовой, косточки обглодают до гладка и спихнут лапами в море. О котах и говорить не приходится – корабельных котлов вообще надо прятать от крыс, чтобы чего-нибудь не случилось.

Над корабельными котами крысы издеваются как хотят. Отъесть спящему коту хвост под самую репку для крыс самое милое дело – доставляет большое удовольствие. А уж сожрать кота целиком вместе с ушами, усами, когтями и хвостом для них вообще удовольствие номер один.

В общем, сладу с пасюками не было никакого до тех пор, пока мудрые люди не собрались на полубаке и после долгого толкования, перемежаемого ядреным матом, не придумали способ, – пока единственный на флоте, другого способа нет, – как расправляться с наглыми крысами. Можно, конечно, утопить усаших вместе с кораблём, но это не выход, – так решили многоумные мореманы, – корабль жалко, и нашли другой способ.

Фамилий этих славных людей история не сохранила, но люди эти были, точно были. Плодами их упорного умственного труда и занялся боцман Тамаев.

А придумали мореманы так называемых крысаков. Что это такое – крысаки? Это страшные, красноглазые, жирные, специально выведенные, «воспитанные» существа с зубами, свободно перекусывающими стальную проволоку.

Выводят крысаков так, – собственно, этим и занимался боцман Тамаев и имел на побочном промысле немало дополнительных паек хлеба (с маслом, между прочим). Ловят штук двадцать пасюков и швыряют в железную бочку. Обязательно в железную, ибо деревянную они запросто сожрут и ещё будут благодарны за предоставленный им обед, а с железной не справятся точно, – в железе их зубы увязнут...

Еды пасюкам не дают никакой, и тогда крысы, обезумевшие в бочке от голода, начинают пожирать друг дружку. Более сильные пожирают более слабых. В конце концов остается один пасюк – самый сильный, самый беспощадный, самый страшный – не дай бог приснится матросам во сне. Дергунчик может прихватить служивых, будут тогда матросики дёргаться в падушей, кричать от страха да мочиться под себя, в матрасы.

Оставшийся пасюк и есть крысак. Он теперь ничем иным не может питаться – только живыми крысами. Такого, «воспитанного» боцманом Тамаевым, крысака запускают в трюм стонущего от обилия пасюков корабля. За хорошую мзду, естественно: «воспитатель» Тамаев считал, что его труд должен оплачиваться по первой категории, да и вообще всё дело – приносить приличные дивиденды.

Через некоторое время трюм облюбованного пасюками корабля оказывался чист, как суповая кастрюля на камбузе после сытого обеда, – особенно, если кок умел вкусно готовить, – глухо в трюме, будто в яме: ни одного крысиного писка. Зато крысак выглядел, как барин, прошедший зимние каникулы где-нибудь на колбасной фабрике, – морда у него была такая, что не во всякую дверь пролезала. И ещё – очень красноречиво шевелились усы.

Тамаев извлекал обожравшегося крысака из опустевшего трюма, – этому сложному делу он обучился также, – и, прежде чем переправить «героя» в следующий трюм, объявлял конкурс: какая посудина больше заплатит за аренду крысака... В ту посудину Тамаев своего питомца и перебрасывал.

Жил боцман, между прочим, неплохо – питомец и сам ел от пуза, и наставника своего кормил.

Правда, случались досадные «штукенции». Иногда не крысак сжирал своих соплеменников, а соплеменники его: наделённые острым умом, они объединялись и съедали крысака, оставались только усы, когти да окостеневший кончик голого, пахнущего мочой хвоста.

В такие разы Тамаев, поминая погибшего воспитанника, выпивал стакан водки с верхом – это когда жидкость бугром выпирает из посуды, занюхивал выпитое рукавом и доставал из клетки, сваренной из толстых железных прутьев, очередного «ученика».

Для этих случаев он обязательно имел резерв.

– Тамаев флотские законы знает, – произносил боцман самодовольно, – и блюдёт.

Руководителем второй группы, направляемой в Петроград, Соколов решил назначить Тамаева.

– Почему ты остановил выбор на этом крысолове? – спросил у Соколова Герман, он в это время находился в кабинете (Герман и Соколов дружили давно, ещё с девятьсот пятого года, когда им пришлось усмирять взбунтовавшихся выборгских рабочих), – разве больше нет никого?

– Нет, – лаконично отозвался на вопрос Соколов. В кабинете, кроме них, не было никого. Подбор боевых групп, засылка их в Россию, назначение старших – это дело секретное очень и очень, посторонних на этой кухне быть не должно, но Соколов не считал Германа посторонним, скорее наоборот.

– Понятно, – протянул Герман без всякого выражения в голосе.

– А чем он тебе не нравится? – Соколов опустил одно веко, словно хотел прицелиться в собеседника. – А? Чем? – кончиками пальцев пощипал усы.

– Я бы на эту должность назначил офицера.

– Нет, Юлий, – протестующе качнул головой Соколов, – офицеров петроградские краснюки отлавливают по походке – раз, два и офицер уже сидит готовенький в каталажке с засунутой под микитки головой. Слишком уж офицер внешне отличается от неофицера – ну будто птица другой породы и окраса. Поэтому я поступлю так – и ты уж поддержи меня, – первую группу возглавил офицер, флотский лейтенант Матвей Комаров, а вторую пусть возглавит обычный хриплоголосый боцман, в котором любой петроградский работяга признает своего,

и никогда ни за что не спутает с белогвардейским поручиком, – Соколов не выдержал, вновь пощипал пальцами свои пижонские усы. – Тамаев в Петрограде – свой человек. Он такой же грубый, наглый, хваткий, воняющий навозом, горластый, как и большинство нынешних петроградцев. Не справится с заданием – сменим тут же. Более того – в затылок пулю всадим... В назидание другим. Чтобы народ более ответственно относился к таким поручениям. А в офицера пулю не всадишь. Согласен со мною?

– Ладно. Согласен, – тихо, хотя и не меняя неодобрительного тона, произнёс Герман.

– Если этого не будет, советская власть укрепитя окончательно, и нам тогда России не видать, как собственных ушей, Юлий. Только в кино можно будет увидеть Россию, да и то, если кино подsunут хорошее. Вот такая скорбная истина имеет место быть, Юлий. Другой истины нет, её надо завоевать.

Герман с тяжёлым вздохом наклонил голову и разлепил твёрдые бледные губы:

– Да.

В группу боцмана Тамаева вошло двенадцать человек. Тамаев отнёсся к назначению серьёзно, «баки» свои пышные, отращённые под героя Русско-турецкой войны генерала Скобелева, укоротил до нормальных размеров, и они стали походить на обычные бакенбарды, которые любят отпускать себе швейцары из недорогих гостиниц, да ещё наодеколонился, будто князь какой – и где он только эту пахучую пакость взял, неведомо. В общем, превратился боцман в обычного капризного папашу с бакенбардами – это с одной стороны, а с другой – в стервозного начальника, который гонору имеет много, а всего остального мало, особенно ежели вопрос касается дела (воспитание крысаков – не в счёт)...

Хоть и назначен был Тамаев руководителем группы боевиков, а подбирать людей доверили не ему – не он занимался этим, занимался лично господин Соколов. Единственное, что Соколов учитывал при подборе обязательно – чтобы люди были знакомы друг с другом, иначе в многолюдном Петрограде можно потерять кого-нибудь и не найти: человек исчезает с концами.

В группу Тамаева вошёл матрос с типично птичьей фамилией Сорока – человек лёгкий, весёлый, родившийся, похоже, с улыбкой, – как вылез из мамы, из чрева, так и начал улыбаться; кроме него, Сорокин приятель Сердюк (Сорока величал Сердюка на английский лад Сэр Дюк, а тот Сороку, которого звали Сергеем, – Сэр Гей. Им казалось, что клички эти звучат просто превосходно) – такой же справный матрас, как и сам Сорока; Красков, считавшийся скучным человеком, уроженец Сибири, коренной чалдон Шерстобитов, заряжающий из орудийной башни Дейниченко, сшивший себе самые знатные на флоте штаны. Ширина клешей, которые он носил, составляла ни много ни мало шестьдесят сантиметров; чтобы клешки не задирались, не вели себя, как дамская юбка, Дейниченко к низу штанов прикрепил железные гайки, и штаны вели себя при ходьбе как надо – висели покорно и при каждом шаге звонко щёлкали о деревянный тротуар...

Были в группе ещё кое-какие интересные личности, но боцман, не будучи знакомым с ними, не знал, выдающиеся они или нет, следует вести себя с ними повежливее либо гавкать трубно, как он привык это делать на полубаке, – в общем, кто они и что они, ещё только предстояло понять. И это, естественно, Тамаева беспокоило – каждый человек мог оказаться для него сюрпризом.

С другой стороны, желание Соколова, чтобы в боевых группах были только добровольцы, исполнить оказалось непросто – народ не хотел добровольно отправляться в Россию, нужен был нажим, нужно было соблазнять людей деньгами, какой-нибудь собственностью на чужбине, благами, ещё чем-то. Соколову было понятно: люди устали. И он устал, так устал, что плакать хотелось, но этого делать было нельзя, этого только большевики в России и ждали.

Сведя губы в одну жёсткую прямую линию, Соколов застывал в нехорошей думе, взгляд у него тоже делался застывшим, и что он видел в этом невольном онемении, не знал никто.

Прежде чем группа Тамаева ушла в Россию, туда отправился Герман – в помощь Шведову и Таганцеву... Больше, конечно, в помощь Шведову – тот сейчас вообще должен быть взмылен от работы, ему, как военному организатору надо фиксировать все мелочи, чтобы потом в нужный момент выложить их перед боевиками, те в свою очередь достанут из-за пазухи стволы и произведут окончательный расчёт с должниками. А ещё нужно составлять идеологические планы и реализовывать их... И так далее.

Хотя у Шведова и было воинское звание на две ступеньки выше, чем у Германа, Герман считался фигурой более крупной – его принимали эмигранты и в Финляндии, и в Норвегии, и во Франции, все снимали шляпы, а перед Шведовым нет, Шведов таких высот ещё не достиг, этот факт Соколов тоже учитывал...

Герман никогда не выходил на улицу невооружённым, маузером научился владеть, как поэт Александр Пушкин пером – пулями мог на стенке писать стихи, вгоняя их туда, как гвозди, если же отправлялся на задание, то брал с собою два маузера.

Однажды в тёмной небольшой рощице под фортом Инно он устроил сеанс показательной стрельбы. Взял большой кованый гвоздь – специально купил его в магазине строительных материалов, показал присутствующим.

– Господа, предлагаю пари. Если я с пяти выстрелов загоню его в дерево по шляпку, выставляете мне ящик шампанского, если не загоню – ящик шампанского выставляю я... Ну как?

Большинство присутствующих, зная способности Германа, держать пари отказались, но двое мичманов с миноносок – бывшие лейтенанты, пониженные в чине и переведённые с эскадренных миноносцев на корабли третьего ранга, решили попытать счастья и ударили с Германом по рукам, – не ведали, судя по всему, что это за человек.

Герман равнодушно провёл пальцем по кромке усов, подбил их снизу.

– Больше никто не желает присоединиться к господам мичманам? Пра-шу!

Желающих пополнить ряды людей, заведомо проигрывающих, среди приглашённых на представление не оказалось.

– Ну что ж, на нет и суда нет, – спокойно молвил Герман, демонстративно подкинул в руке гвоздь и направился к старой берёзе с почерневшим, украшенным тремя дуплами стволом.

– Э-э, нет, господин Герман, – запротестовал один из мичманов, – у этой берёзы трухлявый ствол, его можно насквозь проткнуть пальцем, не то что пулей из маузера.

Герман сверкнул глазами и усмехнулся – как всегда загадочно и молча, подкинул в руке гвоздь.

– Ну что ж, господин хороший, если вам не жалко молодого дерева, пусть будет по-вашему, – он перешёл к молодой сильной берёзе с высоким ровным стволом, – хотя должен заметить, что древесина у старой берёзы более жёсткая, она много твердее, чем у этой вот красавицы. – Он ткнул остриём гвоздя в ствол молодой берёзы. – В эту берёзу я берусь вогнать гвоздь четырьмя пулями. Годится такой вариант?

Собравшиеся смотрели на Германа с любопытством. Это был знакомый всему флоту человек – сухопутный офицер с холодными глазами, лишённый страха, очень умелый и беспощадный.

Мичманы переглянулись – люди, которым было уже под тридцать, вели себя, как мальчишки, – недоумённо приподняли плечи, осмотрелись, будто видели этот распорядок впервые... Герман выбрал место для показательной стрельбы умело. Сзади, за деревьями – в основном, это были берёзы, – поднималась тусклая каменная стенка, слева и справа пространство было ограничено: если пуля отрикошетит, то далеко не унесётся, её также остановят камни – здесь всюду камни, камни... И лес растёт на камнях.

– Повторяю, одну пулю я дарю вам, это фора, – назидательным тоном проговорил Герман, поворачиваясь к мичманам. – Устраивает это вас, господа?

– Отчего же не устраивает, – наконец, проговорил один из мичманов, ходульно-высокий, с длинным костлявым лицом. – Очень даже устраивает.

– Ну и ладушки, – по-домашнему произнёс Герман.

Мичман опасно качнулся на стеблях длинных ног. Глядя на мичмана, всякий человек обязательно задавался вопросом: как же он стоит на палубе миноноски во время шторма? Сдуть ведь может. Либо лёгким плевком волны смахнуть за борт: шлёп – и нету человека!

Герман поправил гвоздь, чтобы тот мог войти в молодую, полную сил берёзу ровно, будто по нему били не пулями, а молотком, и неспешно вернулся к группе зрителей. По дороге же шагами посчитал, сколько метров отделяет зрителей от берёзы. Выходило – двадцать два... Двадцать два метра – это много даже для отличного стрелка. Пятнадцать – ещё куда ни шло, а двадцать два – много.

Но Германа расстояние не смутило. Он спокойно вытащил из-под мышки маузер, на манер Соловья-разбойника дунул в ствол, затем лёгким коротким движением вскинул маузер и выстрелил. Пуля всадила в шляпку гвоздя, выбила длинную струю электрических брызг и, обессиленная, отлетела в сторону, отколола кусок камня.

Присутствовавшие заплотировали – на таком расстоянии легко промахнуться, но Герман не сплеховал. Что происходило у него внутри, в том месте, где находится сердце, понять было невозможно, лицо ничем не выдавало внутреннее состояние: ни оживлённого блеска глаз, ни торжествующей улыбки, тронувшей уголки губ, ни довольного хлопка ладонью по боку – ничего этого не было.

Шёл обычный сухой, бесстрастный человек, довольный, возможно, только одним – тем, что он дышит здешним лесным воздухом, сыроватым, пахнущим прелой травой и сосновой хвоей: предоставил ему Господь такую возможность и спасибо большое – больше ничего ему не надо.

Герман вновь поднял маузер. На этот раз почти не целясь, как только кончик отвода оказался на прямой, соединяющей две точки, человека и цель, Герман нажал на спусковой крючок.

Ударил выстрел. Герман опять попал в шишку гвоздя. Ствол берёзы окутался ярким электрическим сеевом. Мичманы невольно переглянулись: это колдун какой-то! Придётся выставлять ящик шампанского.

А в Петрограде, говорят, не только шампанского нет – в магазинах даже помоев не найти, полки такие пустые, что по ним уже и мыши перестали бегать, не говоря о живности более мелкой – тараканах и мухах.

Когда Герман сделал третий выстрел, собравшиеся заплотировали вновь: третий выстрел был самый точный, не отплонулся светящейся пылью – гвоздь залез в тело берёзы по самую шляпку.

Засунув маузер в хитрую кобуру, прикреплённую к изнанке пиджака, Герман картинно вскинул одну руку:

– Пра-шу!

Собравшиеся устремились к берёзе. Гвоздь был утоплен в неё по самый корешок, сверху поблёскивала свежесобраным металлом шляпка, похожая на корабельную заклёпку. Герман стрелял без промаха.

Каждый, кто был в распадке, считал своим долгом подойти к дереву, колупнуть ногтём оплощенную шляпку гвоздя и восхищённо поцеловать языком. Мичманы, по-юношески алея скулами, хотя давно прошли этот возрастной рубеж, тоже подошли к берёзе, поколупали ногтями гвоздь, вздохнули грустно – лучше бы они с этим стрелком не связывались...

Через четыре дня, чёрной, как печная сажа ночью – на небе не было ни одной звёздочки, – Герман перешёл границу и очутился в Советской России.

Остановился около какого-то кривого, с толстым стволом дерева, прислонился к нему спиной и перекрестился трижды:

– Пошли мне, Господь, удачу!

Пограничники с заставы Костюрина засекли его, определили, куда идёт ночной гость, но мешать не стали, поскольку приказ на руках имели: не мешать. И Герман, отдышавшись, отправился дальше.

В километре от «окошка» его ждала подвода, на ней он и поехал в Петроград сворачивать, как он считал, шею власти рабочих и крестьян.

Через сутки он находился уже в Петрограде.

Глава восьмая

Шведов ждал своего старого приятеля на квартире, расположенной в неприметном доме с узкими угрюмыми окнами-бойницами на «Васином» острове, как простые петроградские работяги звали Васильевский остров.

– Домик у тебя, Вячеслав Григорьевич, похож на настоящую крепость, – сказал Герман, входя в сыроватую, давно не топлёную квартиру и привычно вытирая ноги о круглый домо-тканый коврик. – Действительно крепость, от любого противника отбиться можно.

– Ну, я специально не выбирал, не до того было, – Шведов обнялся с гостем, – а от противника мы и без крепостных стен отобьёмся, ты же знаешь...

Это Герман знал. Когда глаза привыкли к квартирному сумраку, он огляделся. Это была рядовая квартира, в каких обычно живут мещане, обставленная без всяких изысков, очень просто – здесь находилось только то, что нужно для жизни, ничего лишнего. Воздух, скопившийся в квартире, припахивал плесенью и слежавшейся землёй. «Могилой пахнет, – невольно отметил Герман, – чтобы вывести стойкий запах этот, нужно года полтора, не меньше, а этих полутора лет у нас нет». Спросил тихо, словно бо опасался, что его кто-нибудь услышит:

– Как обстановка в Петрограде, Вячеслав?

– Ничего хорошего. Красные лютуют.

– Ну, власть без жёстких рукавиц не удержать, это и мы с тобою хорошо знаем, и красные знают, поэтому им ничего не остаётся делать, – только лютовать.

– Сейчас, когда мы им сыпанём перца под хвост, они вообще озвереют и раскочегарят репрессивную машину на полную катушку.

– А ты что, хочешь, чтобы они, как варёные тараканы, лапки вверх задрали? Не-ет. Это народ совершенно другой закваски.

– Я удивился, что ты в Питере появился сегодня – думал, приедешь с группой боевиков. Она будет здесь через три дня.

– Не-ет, Вячеслав, я кот, который гуляет сам по себе. А какая группа придёт? – спросил Герман, будто не знал, кого Соколов подготовил к переброске в Петроград.

– Какого-то Тамаева.

– Есть такая группа, матросская.

– Что, сплошь из матросов и ни одного офицера?

– Ни одного офицера, – подтвердил Герман.

– Как же она будет действовать без офицера?

Герман неопределённо пожал плечами.

– Этого пока не знает никто.

Группа Тамаева, как и Герман, благополучно прошла через границу, добралась до ближайшей станции, откуда в Петроград регулярно ходили поезда – большевикам надо отдать должное, они смогли наладить работу железной дороги. Дождались, когда придёт старенький, простудно свистящий паровозик с высокой трубой, похожей на голенище гигантского сапога, к паровозу было прикреплено три вагона, битком набитых людьми. Тамаев первым забрался в головной вагон и могучим движением плеча спрессовал людей, находившихся в нём – вагон умялся ровно наполовину.

– Вот так! – трубно крикнул боцман. – Заходи, робята!

Группа его заняла освободившееся пространство целиком... Через несколько часов Тамаев со своими людьми благополучно прибыл в Петроград.

На трибуну, обтянутую красным полотном, с деревянными скамейками, расположенными по обе стороны трибуны, они наткнулись во время первой вылазки в город.

Тамаев озадаченно наморщил лоб:

– А это чего такое? – ткнул пальцем в сторону трибуны.

– Большевики праздник свой собираются отмечать, – подсказал ему говорливый, с весёлым загорелым лицом Сорока, этот человек чувствовал себя в красном Питере, как дома, чего нельзя было сказать о других. – Первое мая называется. Вот к нему и готовятся. Заранее, за три недели. – Сорока обвёл рукой широкое пространство – ну будто всю страну хотел обхватить. Белые зубы его сияли ярко.

Тамаев неприязненно покосился на него, сплюнул себе под ноги:

– А трибуна зачем?

– Речи будут произносить. Это же любимое занятие у комиссаров. Крики «ура» будут раздаваться, боцман. А на скамейки усядется большевистское начальство. С трибуны будет вещать Троцкий.

– А Ленин?

– Ленин на маёвках появляться не любит. Здоровье не позволяет.

– М-м-м, – Тамаев задумчиво пощипал бакенбарды, потом ткнул пальцем в трибуну и заключил командным тоном:

– Сжечь!

– Чтобы сжечь эту бандуру, нужен керосин, – заявил опытный Дейниченко, – хотя бы полстакана.

Пошли искать керосин. Нашли немного – аптечный коричневый пузырёк, наполненный наполовину, больше найти не удалось.

Когда вернулись, то увидели, что около трибуны стоит часовой с винтовкой, хмуро оглядывается по сторонам – выполняя высокий революционный приказ, охраняет лобное место.

Лицо у часового было бледным, жёстким – чувствовалось, что если вместо Троцкого на трибуну попытается взобраться мама родная, он покажет ей, где раки зимуют.

– Це-це-це, – Тамаев вновь задумчиво пощипал свои длинные, похожие на разорванную пополам мочалку усы, потом цапнул себя за бакенбарды, поморщился недовольно – забыл, что их укоротил.

Они стояли в подворотне здания, выходящего фасадом на площадь, где Петроградские власти планировали провести первомайскую акцию.

– На их акцию мы ответим своей, – сказал Тамаев. – Значитца, так... Сорока, Сердюк, Красков и Дейниченко, дуйте круглем на противоположную сторону площади и затейте там драку. Часовой на драку явно откликнется, побежит к вам, а мы в это время трибуну и подпалим... А? – Тамаев грозно пошевелил усами. – Годится плант?

«Плант» годился. Так и поступили.

Первомайская трибуна с рядом свежих скамеек была сожжена, что вызвало в Петрограде переполох невероятный – об этом написали все городские газеты, даже самые мелкие, которых хватало всего на три самокрутки.

Тамаев был доволен.

На следующий день состоялся «общий свист», как боцман называл общие сборы. На «общем свисте» присутствовала вся его группа, прибыли Герман со Шведовым и профессор Таганцев, – уже начавший полнеть человек с приветливым лицом. Таганцев большей частью молчал, лишь иногда рассеянно кивал, Герман тоже молчал, стискивал челюсти и играл желваками, говорил в основном Шведов, и по лицу его было видно, что это дело – говорить и по открытым ртам оценивать качество своей речи, – ему нравится. Герман, глядя на него, только удивлялся – такого Шведова он ещё не знал.

– Наша задача – встряхнуть Петроград так, чтобы был слышен хруст костей, – говорил Шведов и вскидывал в пространство кулак. («Совсем как вождь большевиков господин Ленин», – неодобрительно отметил Герман.) – Надо дезорганизовывать производство, останавливать фабрики и трамвайные линии, совершать диверсии на заводах... Сожжённая пер-

вомайская трибуна – это хорошо, но этого мало! Капля в море, пфиф – и нет её! А взорванный цех на заводе – это уже серьёзно. Убитый красный директор – тоже серьёзно. Надо взять на мушку Первый лесопильный завод, Гознак, памятники революционерам...

– Памятникам объявим войну, памятники я не люблю, – прогудел Тамаев, но Шведов не обратил на него внимания, он словно бы специально не услышал боцмана.

– Надлежит взять на мушку председателя Петроградского губпрофсовета Анцеловича, помощника командующего Балтийским флотом Кузьмина, писателя Горького, – Шведов споткнулся, пожевал, стали видны его бледные крепкие губы: нет, никогда не забыть ему те дни, когда петроградские чекисты ликвидировали «Национальный центр». – Много вреда приносит писатель Горький, – сказал он, – не туда народ ведёт. Ох, не туда, – Шведов вздохнул, жалея заблудившийся русский народ. – А за это – наказание! Никому не дано право обманывать наш многострадальный российский люд, – ни великому человеку, ни малому, ни богу, ни чёрту, отступление от правила наказуемо. А ещё раньше, чем Горького, надо убрать одного... в общем, отщепенца. Фамилия его – Красин, зовут Леонидом Борисовичем.

– А этого за что? – прогудел Тамаев, обращаясь к профессору и, кажется, не к месту, поскольку Таганцев не стал объяснять, за что приговорён к пуле бывший дворянин. Вместо объяснения Таганцев произнёс:

– Только за то, что он Красин!

Не объяснять же в конце концов этим клещастым, что Красин собирается везти большую сумму денег бастующим английским рабочим: дрань драни куш суёт, дрань голая такую же голую дрань выручает – ну и где такое видано?

– Все вы получите оружие, – сказал напоследок Шведов, – револьверы. Гранаты. Могут выдать и маузеры, но они неудобны в ношении.

– Зато надёжны в бою, – вставил Сорока.

– Револьвер всё равно лучше, – заметил Тамаев, – его спрятать можно даже в кальсоны, извините великодушно! И в стрельбе удобен.

– Жалованье у вас, как и обещано, будет приличное, – вступил в разговор Таганцев, вытащил из маленького часового кармашка серебряный «мозер», щёлкнул крышкой, – по миллиону в месяц!

Сорока прикинул в голове: много это или мало? Если брать старые царские деньги – много, на четыреста тысяч можно было купить завод, но деньги обесценились и, может, ещё больше упали, пока они тут слушают важного господина, но судя по рынку, на котором они успели сегодня побывать, миллион рублей – это всё-таки немного.

Деньги Таганцев имел: и от разбитого «Национального центра» кое-что перепало, и от англичан – от Поля Дюка и финского резидента Петра Соколова, и от бывшего штабс-капитана Германа, кроме того, имелись и частные пожертвования: один только Давид Лурье, владелец кожевенного завода, отсчитал несколько миллионов рублей на то, чтобы Таганцев попытался связаться с Кронштадтом во время мятежа, но эта попытка успеха не имела, а деньги остались. Шестнадцать миллионов пришло из-за границы. Деньги были.

Матросы молчали. Шведов ещё несколько минут говорил. Речь его сделалась сухой, сжатой – будто бы он не говорил, а что-то читал по бумажке. Приказ какой-нибудь, не допускающий вольностей...

Вопросов не было. Сорока глянул на Краскова. Бесстрастное лицо Краскова почти ничего не выражало, только в глазах появилась некая обречённость, выжатость, будто он, как человек, занимающийся бегом, промахнул километров двадцать и вымотался донельзя: с лица даже живые краски стёрлись.

Внутри боевой группы была создана специальная группа террористов во главе с самим боцманом. Боцман попросил, чтобы Сердюк, Красков и Дейниченко вошли в эту группу, не захотел разлучаться с ними – всё-таки на одной жеребке плавали, вместе морскую соль жевали,

рыбу из Балтики тягали, когда попадался лакс – местный лосось, угощали им господ офицеров, выстроившись в рядок, держась за леер, дружно блевали за борт – их как-то накормили гнилой говядиной, и из строя вышел весь корабль, такое тоже было, – и все вместе, вместе, вместе. Значит, и тут не будут разлучаться, двинутся дальше вместе.

– А Сорока? – спросил у боцмана Сердюк. – Не вижу в списке Сороку, он ведь тоже наш. Боцман нехотя «зачислил» в террористы и матроса Сороку.

– Слухай, Сэр Дюк, а кто такие террористы? – недоумённо наморщив лоб, спросил Сорока у своего приятеля.

– А хрен их знает, – Сердюк неопределённо пожал плечами. – Я так разумею: террористы – это конники с бомбами.

– Да ты чего, кореш? – удивился Сорока несказанно. – Моряк и на лошадь? Такого никогда не бывало и быть не может.

– Тогда не знаю.

– Ладно, – Сорока махнул рукой, – поживём – увидим. Вдруг действительно будет создана конная флотилия...

С керосином в Петрограде происходили большие перебои, с бензином было и того сложнее: не только автомобили было нечем заправлять, но и даже самолёты.

Самолёты стояли под Питером на нескольких аэродромах, остывшие, неподвижные, с поржавевшими тягами. Горючего не было. И тем паче не оказалось горючего для «террористов» боцмана Тамаева. А без горючего и поджог не устроишь, и урон советской власти не нанесёшь. Керосин нужен был как воздух. Боцман поскрёб твёрдыми ногтями, которыми запросто выковыривал расшатавшиеся заклёпки из корабельной палубы, затылок, пошевелил по-тараканьи усами, пытаясь что-то сообразить. Спросил хрипло:

– А авто чем большевики заправляют? Ведь по Петрограду много авто бегают... Чего у них в моторы залито? Не вода же!

– Вода тоже залита. Для охлаждения двигателя, – знающе заметил Сорока.

Тамаев тяжело посмотрел на него.

– Сейчас как по затылку врежу, – пообещал он, – так половина зубов и высыпется. Умник!

Сошлись на том, что надо бы узнать у сведущих людей, чем петроградские «шофферы» кормят своих железных коней. Узнали. Кормёжкой для машин служила обычная самогонка, разбавленная газOLIном.

Тамаев воодушевился:

– Самогонка? К этому делу мы со всей душой, – боцман наложил одну ладонь на другую, поездил по ней, будто раскатал что-то, понюхал, лицо его, как резиновое, растянулось в блаженной улыбке. – Это по нашей части. Главное – из чего бы хорошую квашню соорудить. Достать бы бураков, – мечтательно произнёс он. – Первач из бураков никаким газOLIном не надо разводить – горит, як порох.

Но весной двадцать первого года достать бураков в Петрограде было невозможно, как, наверное, и во всей России – народ уже забыл, что в природе существует такой продукт, как свёкла, который в ту пору часто называли бураками... Проще было достать картошку. Из картошки можно было получить тоже очень приличный самогон. И из зерна. Но достать зерно было трудно, поэтому остановились на том, что квашню надо затереть из картошки.

Тамаев пошарил по ближайшим чердакам и принёс на квартиру, в которой их разместили, старое эмалированное корыто со следами сколов, шмякнув его об пол на кухне.

– Вот это то самое, что нам надо, – произнёс он довольно, – много литров можно сварить... К обеду, – боцман подмигнул и звучно щёлкнул себя пальцем по кадыку. – Чем крепче первачок, тем лучше настроение.

За змеевиком боцман отправился на рынок. Рынков в ту пору в Питере было не то, что сейчас – на каждом углу, у каждого подъезда галдел разный люд, от цыган до норвежцев и

бездомных лопарей, на золото, на драгоценные камешки, на вещи можно было выменять что угодно, свежую баранью тушу, не то что змеевик с мешком плесневелой картошки.

Деньги в ходу тоже были, не только те, что ценились всегда и ценятся сейчас – золотые царские червонцы¹. Бумажная валюта с нововведённым гербом и обозначением «Р.С.Ф.С.Р.» особого восторга у граждан не вызывала, а иная злоязыкая торговка вообще могла швырнуть деньги в лицо и прошипеть:

– Пойди в нужник и подотри этими бумажками себе задницу!

Поскольку счёт рублям шёл на сотни тысяч и миллионы, то каждый дворник, каждый беспризорник в рваных штанах на одной пуговице могли считать себя миллионерами. Куда ни плюнь, всюду копошились грязные, густо обсыпанные вшами миллионеры, прямо на асфальте они разводили костры из старых журналов, найденных на чердаках, и, тряся голыми чреслами, бесстрашно совали в пламя свои штаны, совершенно не боясь, что те могут покрыться ещё большим количеством дыр, либо вообще превратиться в одну большую прореху.

У Тамаева было чем расплатиться за змеевик. Соколов ещё в Финляндии снабдил его деньгами – настоящими, не фанерными, а теми, которые берут в любом магазине и в любом банке: золотыми пятёрками и золотыми десятками.

У одного из костров, где немытые миллионеры жарили своё расплотившееся в складках одежды богатство, боцман зацепился глазом за невзрачного, с всклокоченной бородёнкой и красными воспалёнными глазами мужичка, с большим бурым носом, украшавшим его испитое лицо не хуже, чем крупная кормовая свёкла украшает иной овощной натюрморт, – внешний вид мужичка не оставлял сомнений насчёт его пристрастий, за свою жизнь он выпил, наверное, столько, сколько не выпила вся группа Тамаева от рождения до сегодняшнего дня.

– Змеевик найдёшь? – спросил боцман у мужичка напрямую.

Тот задумчиво прикрыл веком один глаз.

– Всё зависит от того, что я получу взамен, командир.

Боцман пошарил в кармане бушлата, достал большой серебряный с изображением императора Александра Третьего, показал мужичку. Тот равнодушно опустил веко на приоткрытый глаз, словно бы не хотел видеть боцмана. Процедил лениво:

– Мало!

Тамаев достал из кармана ещё один рубль.

– Мало, – прежним бесцветным тоном произнёс мужичок, отвернулся от боцмана, давая понять, что продолжать с ним разговор далее не намерен – слишком малый капитал предлагает этот моряк за очень нужную вещь.

Пришлось Тамаеву выложить золотой пятёрник: змеевик – вещь необходимая в любом хозяйстве – его и авиатор готов купить, и автомобильный механик, и просто любитель обсудить за бутылкой крепкого мутного самогона пути развития державы, названной замысловато «Р.С.Ф.С.Р.», – в общем, на меньшее мужичок не согласился. Боцман раздосадованно махнул рукой и отдал ему блестящий, словно только что отлитый, пятёрник.

Змеевик оказался что надо – многокольцовый, добросовестно пролуженный изнутри, свёрнутый из медной трубки. Боцман змеевиком остался доволен.

Через два дня квартира Ромейко, в которой расположилась группа боцмана, благоухала. От крутого сивушного духа в рогульки свернулись даже листья домашних фикусов – здоровенные, будто блины, с лакированной светлой изнанкой, они не устояли, скрутились от ядовитого амбрэ, как от сильного мороза. Боцман первым опробовал дело рук своих, хряпнул гранёную рюмашку и ошалело pokrutil головой:

– Ух!

¹ Несколько лет назад в любом зарубежном банке за николаевский червонец давали, насколько я знаю, 85 долларов. Сейчас дают больше. – *Примеч. авт.*

Напиток действительно получился «ух» – тягучий, мутноватый, едкий, если на сапог попадёт хотя бы одна капля – в сапоге прогорит дырка. Боцман выпил ещё одну стопку и вновь, давась воздухом, обожжённо закрутил головой:

– Ух!

Сорока, заинтересованно наблюдавший за Тамаевым, произнёс вполне резонно:

– Слушай, боцман, этого товара хочется испробовать не только тебе, – и, поскольку боцман в ответ лишь звучно пошлёпал губами, добавил: – Услышь нас!

Боцман услышал...

Набрались они в тот вечер так, что самогонка кое у кого даже из ноздрей закапала. Тамаев ползал по полу квартиры и рычал:

– Не смей попусту расходовать взрывчатое вещество!

А «взрывчатое вещество» попусту и не расходовали, его прямиком отправляли в желудок; благо желудки у моряков были крепкие, то и вещества потребовалось много. Напились в тот вечер, как принято говорить в России, «вусмерть», в конце концов все растянулись на полу и, лежа, затянули песню:

Раскинулось море широко
И волны бушуют вдали,
Товарищ, мы едем далёко,
Подальше от нашей земли...

Они так и пели – «едем», хотя, как известно, моряки не ездят, не плавают, а ходят, – захлёбывались собственным дыханием, сопели, сипели, задыхались, но песню упрямо тянули, не прерывали, тянули и тянули до конца.

Пение их было слышно на улице (вот тебе и конспираторы, члены боевой группы), прохожие понимающе улыбались – они, как и поющие моряки, были русскими людьми, хорошо понимали, что душа, несмотря на суровость времени, требует выхода. Обязательно надо погорланить, поспорить, помахать кулаками, может быть, даже подвесить кому-нибудь под глаз фонарь, чтобы было потом у кого попросить прощения, в общем, в России, в частности в городе Петрограде, несмотря на революцию, ничего не изменилось... Всё осталось по-старому.

Нестройную песню моряков услышал проходивший мимо дома Ромейко пограничник Костюрин, он не сдержался, остановился даже – давно в Питере не раздавалось такое нестройное хоровое пение, губы у него сами по себе поползли в стороны, на душе сделалось легко. Раз люди поют, значит, не за горами лучшие времена.

Он аккуратно, словно бы боясь что-то помять, держал под руку Аню Завьялову. Аня тоже улыбнулась легко, раскрепощённо, на душе у неё будто бы лампочка какая засветилась, она заинтересованно вытянулась, вслушалась в слова расползающейся на части, словно сопревшая ткань, песни, махнула рукой, прощая певцам их несобранность.

– Русскую душу могут понять только русские люди, – проговорила она тихо, ровно боясь заглушить песню, – никаким свехумным иностранцам это не осилить.

– Иностранцы что, иностранцы – тьфу! – произнёс Костюрин пренебрежительно, шаркнул сапогом по тротуару. – А мне вот что интересно очень – хочу знать, как рождаются песни?

– Этого не знает никто, – молвила Аня убеждённо, – я уверена...

Костюрин не сдержался, вздохнул по-мальчишески открыто, и они с Аней двинулись дальше.

День подходил к концу, по небу поползли оранжевые перья – признак того, что завтра будет ветреная погода.

Глава девятая

Чурилов служил в одном из флотских экипажей Кронштадта, бывал в фортах, бывал в море. К Балтике он относился хуже, чем к другим морям: мелкое, пенное, с внезапными штормами и двойным ярусом воды. Ветер будто бы снимает с воды слой, приподнимает его на метр над другим, образует воздушную подушку, и корабль часто идёт по этому фальшивому слою, хрипит, сипит, машины его стучат загнанно, а потом вдруг под днищем раздаётся тяжёлый хряск, судно проламывает слой и ухаёт вниз, обдаваясь брызгами по самые макушки мачт – у матросов, особенно у новичков, сердца через глотку выскакивают наружу.

Лучше служить на Чёрном море, или в Средиземном на задымленных усталых кораблях эскадры, либо даже на востоке, у берегов Японии, но всё это если бы, да кабы: не имеет Россия никаких эскадр в Средиземном море, и флота в Чёрном почти не имеет, не считая гнилых рыбацких шаланд, – но разве это флот? – а Япония с её солнцем, цветущими вишнями и камнями у домов, которые услужливые женщины с прекрасными глазами каждый день обтирают мокрыми тряпками, находится так далеко... в общем, дальше, чем сон про какую-нибудь Нику Самофракийскую, о которой так красиво написал Гумилёв.

Стихи были для Чурилова неким крестом, который ему приходилось тянуть довольно тяжело – в основном, извините, на спине... Одни носят свои кресты в петлице, как, допустим, великолепный Блок, другие на спине... Сколько ни писал он, а никак, никогда не мог совместить две стихии: море и поэзию. Все говорят о совместимости этих стихий, а у Чурилова совместимость эта никак не получалась.

Февраль для кронштадтца Чурилова был тяжёлым. Не стало многих его друзей: одни были расстреляны после показательного суда, другие убиты из-за угла, третьи ушли по льду залива в Финляндию, четвёртые постарались наплевать на всё и скрыться в глубине России, в глуши, пятые, как Чурилов, случайно остались целы и мест своих опасных не покинули.

Когда Чурилов вспоминает друзей, ныне уже не существующих, гниющих в могилах, внутри начинает что-то влажно хлюпать, – то ли слёзы, то ли некая незнакомая простуда, то ли ещё что-то, связанное со слезами, то ли боль... Скорее всего, так оно и есть, это – боль... Поколению Чурилова пришлось перенести многое – и Русско-японскую войну, так безобразно проигранную, и три с половиной года боины с немцами, выпренно прозванной историками Великой войной, и Гражданскую с её неразберихой и загубленной Россией, и кронштадтское восстание, унёсшее больше всего его друзей.

Сколько может вынести человек, где предел нагрузке, которую взвалили на плечи людские, а ведь этот предел где-то есть, он существует, и Чурилов ощущал – он недалеко. Не дай Бог сломаться, рухнуть на колени – если упадёшь, тогда уже никто не поможет, никто не спасёт.

В разные передряги попадал Чурилов, всякое у него случалось, но везло – выходил целым.

Иногда ночью, в море, когда не спалось, он выбирался из тесной душной каюты на палубу и, запрокинув голову, смотрел вверх, в качающееся в такт волнам чёрное небо, на звёзды, перебирал их по одной, словно четки, – но все их перебрать было невозможно, – и гадал, где же конкретно находится его звезда? Думал о том, что как ни повернись, как ни посмотри в своё прошлое, полное неудач, а всё-таки получается, что, несмотря на неудачи, звезда его – счастливая.

В Петрограде той поры было много хороших, впоследствии вошедших в историю русской литературы поэтов, но выдающихся, по-настоящему знаменитых было двое: Блок и Гумилёв. Блоком Чурилов восхищался, а Гумилёву подражал.

Гумилёв, кстати, здесь, в Кронштадте, и родился. Отец его был корабельным врачом, и судьба у Николая Степановича по всем астрологическим зацепкам должна быть морской,

военной, ан нет – он стал поэтом. Чурилов познакомился с Гумилёвым на одном из заседаний Союза поэтов, куда была приглашена группа талантливых красноармейцев, в ряды защитных фуражек и серых будённовок затесались несколько моряков, в том числе и Чурилов. Потом Чурилов дважды был на спектакле в Доме поэтов, где Гумилёв играл главную роль, под грохот литавр, с могучим барабанным боем брал на сцене неприступную крепость Фиуме.

Спектакль публике нравился, актёрам, в основном питерским поэтам, оглушительно хлопали. Гумилёву хлопали больше всех. Он заслуживал этого – был самым ярким из всех, кто витийствовал на сцене.

Дамам Гумилев нравился очень, хотя назвать его привлекательным никак было нельзя: у Гумилёва был удлинённый череп, чуть скошенный в сторону нос, глаза находились на разном уровне, один глаз выше, другой ниже, и хотя это было не слишком заметно, Чурилов дефект засёк, подумал, что Бог, щедро отпуская какому-то человеку талант, обязательно ограничивает его в чем-то другом, например в привлекательности.

На второе представление «Взятия Фиуме» Чурилов приезжал вместе с Инной, женой; жена у него была эффектной хрупкой блондинкой, на которую Гумилёв сразу положил глаз, это Чурилов определил мгновенно, но никак не отреагировал, – и после спектакля пожелал вместе с гостями посидеть за чашкой чая.

Чайных чашек в Доме поэтов не было, были стаканы – тонкие, хрупкие, с бронзовыми ободками, кроме чая на стол был ещё выставлен самогон в литровой бутылке, с которым Гумилёв обращался, как с дорогим вином, и две просоленные до горечи воблы, порезанные на крохотные дольки, к вобле присовокупили горбушку чёрного хлеба, также порезанную на мелкие куски.

Вот и всё угощение.

Честно говоря, небогато, учитывая, что члены Дома поэтов должны были, как разумел Чурилов, получать паёк, – в Кронштадте с харчами было всё-таки лучше, чем в Питере, многих там неплохо кормило море.

Веселое было то застолье, настолько весёлое, громкое, заводное, что с него нельзя было взять да уйти, не хватало пороку, и Чурилов с Инной, опоздав на последний дежурный катер, решили заночевать у знакомых в Петрограде. Гумилёв, воспылав к Инне, как он сам заявил, «светлыми чувствами, которые бывают присущи только брату, но никак не мужу», проводил их до самого дома, где жили знакомые Чуриловых, потом вскочил в пролётку, которые в последнее время вновь появились в Петрограде, и уехал.

– Очаровательный человек, – произнесла Инна, проводив поэта оценивающим взглядом.

– Если ты ещё раз скажешь так, я буду ревновать, – предупредил жену Чурилов. – Имей в виду, это серьёзно.

Инна ничего не ответила мужу, огляделась, заметила в конце улицы несколько подозрительных теней.

– Всё-таки у нас в Кронштадте лучше, – проговорила она храбро. Когда рядом находился муж, она не боялась ни бандитов, ни их теней, ни пьяных матросов, ни щипачей-гоп-стопников, умеющих вытащить кошелек с деньгами откуда угодно, даже из чьего-нибудь желудка, ни медвежатников, одним ногтем способных вскрыть любой сейф, умела спокойно оценивать обстановку и при случае даже дать отпор. – У нас тише, сытнее, уютнее, если хочешь... – она поёжилась под прибежавшим с дальнего конца улицы ветерком, взяла мужа под руку. – Пошли! Свалимся на наших друзей, как хан Батый на мирных соседей...

Чурилов рассмеялся: сравнения, которые иногда употребляла жена, нравились ему – такие не всякий поэт может родить.

Друзья – петроградские врачи, он и она, уже находились в постели, но приходу гостей обрадовались: давно не видели чету Чуриловых...

Милое вечернее сидение, начатое в Доме поэтов, продолжилось, даже мутный самогон нашёлся, как и на гумилёвском столе, и переросло в ночное.

Впрочем, ночей как таковых уже почти не было, густая чёрная темнота начала уступать место колдовской лунной белёсости... Близились пора белых ночей двадцать первого года...

На улице иногда грохотали автомобильные моторы – город патрулировали чекистские и красноармейские наряды. В густоте каштановых веток самозабвенно пели птицы. Соловьёв, правда, ещё не было, но скоро наступит и их пора. В открытую форточку тянуло сладковатым духом проснувшейся акации: где-то недалеко зацветала ранняя пташка – большая акация, а может быть, пробовала распустить свои бледные душистые цветы и липа – всё могло быть...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.